

# АНТОН ЧЕХОВ

ПАЛАТА № 6  
(СБОРНИК)

АНТОН ЧЕХОВ  
**Палата № 6 (Сборник)**

«Public Domain»

## **Чехов А. П.**

Палата № 6 (Сборник) / А. П. Чехов — «Public Domain»,

В книгу вошли повести А.П.Чехова (1860–1904) «Степь», «Палата № 6», «Дуэль», «Скучная история» и др. Мотивы тоски существования и гнетущей действительности, часто и пронзительно звучащие в повестях Чехова, оттеняют остроту и сложность переживаний их героев. Тонкий психолог и мастер подтекста, А.П.Чехов обнажает самые потаенные области сознания, создавая не спектакль персонажей-марионеток, но драматургию человеческих душ.

## Содержание

Степь	5
I	5
II	9
III	15
IV	23
V	30
VI	36
VII	45
VIII	52
Скучная история	59
I	59
II	66
III	75
IV	81
Конец ознакомительного фрагмента.	86

# Антон Чехов

## Палата № 6 (Сборник)

### Степь

#### История одной поездки

#### I

Из N., уездного города Z-ой губернии, ранним июльским утром выехала и с громом покачала по почтовому тракту безрессорная, ошарпанная бричка, одна из тех допотопных бричек, на которых ездят теперь на Руси только купеческие приказчики, гуртовщики и небогатые священники. Она тарахтела и взвизгивала при малейшем движении; ей угрюмо вторило ведро, привязанное к ее задку, и по одним этим звукам да по жалким кожаным тряпочкам, болтавшимся на ее облезлом теле, можно было судить о ее ветхости и готовности идти в слом.

В бричке сидело двое N-ских обывателей: N-ский купец Иван Иванович Кузьмичов, бритый, в очках и в соломенной шляпе, больше похожий на чиновника, чем на купца, и другой – отец Христофор Сирийский, настоятель N-ской Николаевской церкви, маленький длинноволосый старичок, в сером парусиновом кафтане, в широкополом цилиндре и в шитом, цветном поясе. Первый о чем-то сосредоточенно думал и встряхивал головою, чтобы прогнать дремоту; на лице его привычная деловая сухость боролась с благодушием человека, только что простившегося с родней и хорошо выпившего; второй же влажными глазками удивленно глядел на мир божий и улыбался так широко, что, казалось, улыбка захватывала даже поля цилиндра; лицо его было красно и имело озябший вид. Оба они, как Кузьмичов, так и о. Христофор, ехали теперь продавать шерсть. Прощаясь с домочадцами, они только что сытно закусили пышками со сметаной и, несмотря на раннее утро, выпили. . . Настроение духа у обоих было прекрасное.

Кроме только что описанных двух и кучера Дениски, неутомимо стегавшего по паре шустрых гнедых лошадок, в бричке находился еще один пассажир – мальчик лет девяти, с темным от загара и мокрым от слез лицом. Это был Егорушка, племянник Кузьмичова. С разрешения дяди и с благословения о. Христофора он ехал куда-то поступать в гимназию. Его мамаша, Ольга Ивановна, вдова коллежского секретаря и родная сестра Кузьмичова, любившая образованных людей и благородное общество, умолила своего брата, ехавшего продавать шерсть, взять с собою Егорушку и отдать его в гимназию; и теперь мальчик, не понимая, куда и зачем он едет, сидел на облучке рядом с Дениской, держался за его локоть, чтоб не свалиться, и подпрыгивал, как чайник на конфорке. От быстрой езды его красная рубаха пузырем вздувалась на спине и новая ямщицкая шляпа с павлиньим пером то и дело сползала на затылок. Он чувствовал себя в высшей степени несчастным человеком и хотел плакать.

Когда бричка проезжала мимо острога, Егорушка взглянул на часовых, тихо ходивших около высокой белой стены, на маленькие решетчатые окна, на крест, блесневший на крыше, и вспомнил, как неделю тому назад, в день Казанской Божией Матери, он ходил с мамашей в острожную церковь на престольный праздник; а еще ранее, на Пасху, он приходил в острог с кухаркой Людмилой и с Дениской и приносил сюда куличи, яйца, пироги и жареную говядину; арестанты благодарили и крестились, а один из них подарил Егорушке оловянные запонки собственного изделия.

Мальчик всматривался в знакомые места, а ненавистная бричка бежала мимо и оставляла все позади. За острогом промелькнули черные, закопченные кузницы, за ними уютное

зеленое кладбище, обнесенное оградой из булыжника; из-за ограды весело выглядывали белые кресты и памятники, которые прячутся в зелени вишневых деревьев и издали кажутся белыми пятнами. Егорушка вспомнил, что, когда цветет вишня, эти белые пятна мешаются с вишневыми цветами в белое море; а когда она спеет, белые памятники и кресты бывают усыпаны багряными, как кровь, точками. За оградой под вишнями день и ночь спали Егорушкин отец и бабушка Зинаида Даниловна. Когда бабушка умерла, ее положили в длинный, узкий гроб и прикрыли двумя пятаками ее глаза, которые не хотели закрываться. До своей смерти она была жива и носила с базара мягкие бублики, посыпанные маком, теперь же она спит, спит...

А за кладбищем дымились кирпичные заводы. Густой, черный дым большими клубами шел из-под длинных камышовых крыш, приплюснутых к земле, и лениво поднимался вверх. Небо над заводами и кладбищем было смугло, и большие тени от клубов дыма ползли по полю и через дорогу. В дыму около крыш двигались люди и лошади, покрытые красной пылью...

За заводами кончался город и начиналось поле. Егорушка в последний раз оглянулся на город, припал лицом к локтю Дениски и горько заплакал...

– Ну, не отрevelся еще, рева! – сказал Кузьмичов. – Опять, баловник, слюни распустил! Не хочешь ехать, так оставайся. Никто силой не тянет!

– Ничего, ничего, брат Егор, ничего... – забормотал скороговоркой о. Христофор. – Ничего, брат... Призывай бога... Не за худом едешь, а за добром. Ученье, как говорится, свет, а неученье – тьма... Истинно так.

– Хочешь вернуться? – спросил Кузьмичов.

– Хо... хочу... – ответил Егорушка, всхлипывая.

– И вернулся бы. Все равно попусту едешь, за семь верст киселя хлебать.

– Ничего, ничего, брат... – продолжал о. Христофор. – Бога призывай... Ломоносов так же вот с рыбаками ехал, однако из него вышел человек на всю Европу. Умственность, воспринимаемая с верой, дает плоды, богу угодные. Как сказано в молитве? Создателю во славу, родителям же нашим на утешение, церкви и отечеству на пользу... Так-то.

– Польза разная бывает... – сказал Кузьмичов, закуривая дешевую сигару. – Иной двадцать лет обучается, а никакого толку.

– Это бывает.

– Кому наука в пользу, а у кого только ум путается. Сестра – женщина непонимающая, норовит все по-благородному и хочет, чтоб из Егорки ученый вышел, а того не понимает, что я и при своих занятиях мог бы Егорку навек осчастливить. Я это к тому вам объясняю, что ежели все пойдут в ученые да в благородные, тогда некому будет торговать и хлеб сеять. Все с голоду поумирают.

– А ежели все будут торговать и хлеб сеять, тогда некому будет учения постигать.

И, думая, что оба они сказали нечто убедительное и веское, Кузьмичов и о. Христофор сделали серьезные лица и одновременно кашлянули. Дениска, прислушивавшийся к их разговору и ничего не понявший, встряхнул головой и, приподнявшись, стегнул по обеим гнедым. Наступило молчание.

Между тем перед глазами ехавших расстилалась уже широкая, бесконечная равнина, перехваченная цепью холмов. Теснясь и выглядывая друг из-за друга, эти холмы сливаются в возвышенность, которая тянется вправо от дороги до самого горизонта и исчезает в лиловой дали; едешь-едешь и никак не разберешь, где она начинается и где кончается... Солнце уже выглянуло сзади из-за города и тихо, без хлопот принялось за свою работу. Сначала, далеко впереди, где небо сходится с землею, около курганчиков и ветряной мельницы, которая издали похожа на маленького человечка, размахивающего руками, поползла по земле широкая ярко-желтая полоса; через минуту такая же полоса засветилась несколько ближе, поползла вправо и охватила холмы; что-то теплое коснулось Егорушкиной спины, полоса света, подкравшись

сзади, шмыгнула через бричку и лошадей, понеслась навстречу другим полосам, и вдруг вся широкая степь сбросила с себя утреннюю полутьму, улыбнулась и засверкала росой.

Сжатая рожь, бурьян, молочай, дикая конопля – все, побуревшее от зноя, рыжее и полумертвое, теперь омытое росой и обласканное солнцем, оживало, чтоб вновь зацвести. Над дорогой с веселым криком носились старички, в траве перекликались суслики, где-то далеко влево плакали чибисы. Стадо куропаток, испуганное бричкой, вспорхнуло и со своим мягким «тррр» полетело к холмам. Кузнечики, сверчки, скрипачи и медведки затянули в траве свою скрипучую монотонную музыку.

Но прошло немного времени, роса испарилась, воздух застыл, и обманутая степь приняла свой унылый июльский вид. Трава поникла, жизнь замерла. Загорелые холмы, буро-зеленые, вдали лиловые, со своими покойными, как тень, тонами, равнина с туманной далью и опрокинутое над ними небо, которое в степи, где нет лесов и высоких гор, кажется страшно глубоким и прозрачным, представлялись теперь бесконечными, оцепеневшими от тоски...

Как душно и уныло! Бричка бежит, а Егорушка видит все одно и то же – небо, равнину, холмы... Музыка в траве приутихла. Старички улетели, куропаток не видно. Над поблекшей травой, от нечего делать, носятся грачи; все они похожи друг на друга и делают степь еще более однообразной.

Летит коршун над самой землей, плавно взмахивая крыльями, и вдруг останавливается в воздухе, точно задумавшись о скуке жизни, потом встряхивает крыльями и стрелой несется над степью, и непонятно, зачем он летает и что ему нужно. А вдали машет крыльями мельница...

Для разнообразия мелькнет в бурьяне белый череп или булыжник; вырастет на мгновение серая каменная баба или высохшая ветла с синей ракшей на верхней ветке, перебежит дорогу суслик, и – опять бегут мимо глаз бурьян, холмы, грачи...

Но вот, слава богу, навстречу едет воз со снопами. На самом верху лежит девка. Сонная, изморенная зноем, поднимает она голову и глядит на встречающих. Дениска зазевался на нее, гневные протягивают морды к снопам, бричка, взвизгнув, целуется с возом, и колючие колосья, как веником, проезжают по цилиндру о. Христофора.

– На людей едешь, пухлая! – кричит Дениска. – Ишь рожу-то раскорячило, словно шмель укусил!

Девка сонно улыбается и, пошевелив губами, опять ложится... А вот на холме показывается одинокий тополь; кто его посадил и зачем он здесь – бог его знает. От его стройной фигуры и зеленой одежды трудно оторвать глаза. Счастлив ли этот красавец? Летом зной, зимой стужа и метели, осенью страшные ночи, когда видишь только тьму и не слышишь ничего, кроме беспутного, сердито воющего ветра, а главное – всю жизнь один, один... За тополем ярко-желтым ковром, от верхушки холма до самой дороги, тянутся полосы пшеницы. На холме хлеб уже скошен и убран в копны, а внизу еще только косят... Шесть косарей стоят рядом и взмахивают косами, а косы весело сверкают и в такт, все вместе издают звук: «вжжи, вжжи!» По движениям баб, вяжущих снопы, по лицам косарей, по блеску кос видно, что зной жжет и душит. Черная собака с высунутым языком бежит от косарей навстречу к бричке, вероятно, с намерением залаять, но останавливается на полдороге и равнодушно глядит на Дениску, грозящего ей кнутом: жарко лаять! Одна баба поднимается и, взявшись обеими руками за измученную спину, провожает глазами кумачовую рубаху Егорушки. Красный ли цвет ей понравился, или вспомнила она про своих детей, только долго стоит она неподвижно и смотрит вслед...

Но вот промелькнула и пшеница. Опять тянется выжженная равнина, загорелые холмы, знойное небо, опять носится над землею коршун. Вдали по-прежнему машет крыльями мельница, и все еще она похожа на маленького человечка, размахивающего руками. Надоело глядеть на нее, и кажется, что до нее никогда не до-едешь, что она бежит от брички.

Отец Христофор и Кузьмичов молчали. Дениска стегал по гнедым и покрикивал, а Егорушка уж не плакал, а равнодушно глядел по сторонам. Зной и степная скука утомили его. Ему казалось, что он давно уже едет и подпрыгивает, что солнце давно уже печет ему в спину. Не проехали еще и десяти верст, а он уже думал: «Пора бы отдохнуть!» С лица дяди мало-помалу сошло благодущие, и осталась одна только деловая сухость, а бритому, тощему лицу, в особенности когда оно в очках, когда нос и виски покрыты пылью, эта сухость придает неумолимое, инквизиторское выражение. Отец же Христофор не переставал удивленно глядеть на мир божий и улыбаться. Молча он думал о чем-то хорошем и веселом, и добрая, благодущная улыбка застыла на его лице. Казалось, что и хорошая, веселая мысль застыла в его мозгу от жары...

– А что, Дениска, догоним нынче обозы? – спросил Кузьмичов.

Дениска поглядел на небо, приподнялся, стегнул по лошадям и потом уже ответил:

– К ночи, бог даст, догоним...

Послышался собачий лай. Штук шесть громадных степных овчарок вдруг, выскочив точно из засады, с свирепым воющим лаем бросились навстречу бричке. Все они, необыкновенно злые, с мохнатыми паучьими мордами и с красными от злобы глазами, окружили бричку и, ревниво толкая друг друга, подняли хриплый рев. Они ненавидели страстно и, кажется, готовы были изорвать в клочья и лошадей, и бричку, и людей... Дениска, любивший дразнить и стегать, обрадовался случаю и, придав своему лицу злорадное выражение, перегнулся и хлестнул кнутом по овчарке. Псы пуще захрипели, лошади понесли; и Егорушка, еле державшийся на передке, глядя на глаза и зубы собак, понимал, что, свались он, его моментально разнесут в клочья, но страха не чувствовал, а глядел так же злорадно, как Дениска, и жалел, что у него в руках нет кнута.

Бричка поравнялась с отарой овец.

– Стой! – закричал Кузьмичов. – Держи! Тпрр...

Дениска подался всем туловищем назад и осадил гнедых. Бричка остановилась.

– Поди сюда! – крикнул Кузьмичов чабану. – Уйми собак, будь они прокляты!

Старик чабан, оборванный и босой, в теплой шапке, с грязным мешком у бедра и с крючком на длинной палке – совсем ветхозаветная фигура, – унял собак и, снявши шапку, подошел к бричке. Точно такая же ветхозаветная фигура стояла, не шевелясь, на другом краю отары и равнодушно глядела на проезжих.

– Чья это отара? – спросил Кузьмичов.

– Варламовская! – громко ответил старик.

– Варламовская! – повторил чабан, стоявший на другом краю отары.

– Что, проезжал тут вчера Варламов или нет?

– Никак нет... Приказчик ихний проезжали, это точно...

– Трогай!

Бричка покатила дальше, и чабаны со своими злыми собаками остались позади. Егорушка нехотя глядел вперед на лиловую даль, и ему уже начинало казаться, что мельница, машущая крыльями, приближается. Она становилась все больше и больше, совсем выросла, и уж можно было отчетливо разглядеть ее два крыла. Одно крыло было старое, заплатанное, другое только недавно сделано из нового дерева и лоснилось на солнце.

Бричка ехала прямо, а мельница почему-то стала уходить влево. Ехали, ехали, а она все уходила влево и не исчезала из глаз.

– Славный ветряк поставил сыну Болтву! – заметил Дениска.

– А что-то хутора его не видать.

– Он туда, за балочкой.

Скоро показался и хутор Болтвы, а ветряк все еще не уходил назад, не отставал, глядел на Егорушку своим лоснящимся крылом и махал. Какой колдун!

## II

Около полудня бричка свернула с дороги вправо, проехала немного шагом и остановилась. Егорушка услышал тихое, очень ласковое журчанье и почувствовал, что к его лицу прохладным бархатом прикоснулся какой-то другой воздух. Из холма, склеенного природой из громадных, уродливых камней, сквозь трубочку из болиголова, вставленную каким-то неведомым благодетелем, тонкой струйкой бежала вода. Она падала на землю и, прозрачная, веселая, сверкающая на солнце и тихо ворча, точно воображая себя сильным и бурным потоком, быстро бежала куда-то влево. Недалеко от холма маленькая речка расплзлась в лужицу; горячие лучи и раскаленная почва, жадно выпивая ее, отнимали у нее силу, но немножко далее она, вероятно, сливалась с другой такою же речонкой, потому что шагах в ста от холма по ее течению зеленела густая, пышная осока, из которой, когда подъезжала бричка, с криком вылетело три бекаса.

Путники расположились у ручья отдыхать и кормить лошадей. Кузьмичов, о. Христофор и Егорушка сели в жидкой тени, бросаемой бричкою и распряженными лошадьми, на разостланном войлоке и стали закусывать. Хорошая, веселая мысль, застывшая от жары в мозгу о. Христофора, после того как он напился воды и съел одно печеное яйцо, запросилась наружу. Он ласково взглянул на Егорушку, пожевал и начал:

– Я сам, брат, учился. С самого раннего возраста бог вложил в меня смысл и понятие, так что я, не в пример прочим, будучи еще таким, как ты, утешал родителей и наставников своим разумением. Пятнадцати лет мне еще не было, а я уж говорил и стихи сочинял по-латынски все равно как по-русски. Помню, был я жезлоносцем у преосвященного Христофора. Раз после обедни, как теперь помню, в день тезоименитства благочестивейшего государя Александра Павловича Благословенного он разоблачался в алтаре, поглядел на меня ласково и спрашивает: «Puer bone, quam appellaris?»<sup>1</sup> А я отвечаю: «Christophorus sum».<sup>2</sup> А он: «Ergo connominati sumus», то есть мы, значит, тезки... Потом спрашивает по-латынски: «Чей ты?» Я и отвечаю тоже по-латынски, что я сын диакона Сирийского в селе Лебединском. Видя такую мою скоропешность и ясность ответов, преосвященный благословил меня и сказал: «Напиши отцу, что я его не оставлю, а тебя буду иметь в виду». Протоиереи и священники, которые в алтаре были, слушая латынский диспут, тоже немало удивлялись, и каждый в похвалу мне изъявил свое удовольствие. Еще у меня усов не было, а я уж, брат, читал и по-латынски, и по-гречески, и по-французски, знал философию, математику, гражданскую историю и все науки. Память мне бог дал на удивление. Бывало, которое прочту раза два, наизусть помню. Наставники и благодетели мои удивлялись и так предполагали, что из меня выйдет ученейший муж, светильник церкви. Я и сам думал в Киев ехать, науки продолжать, да родители не благословили. «Ты, – говорил отец, – весь век учиться будешь, когда же мы тебя дождемся?» Слыша такие слова, я бросил науки и поступил на место. Оно, конечно, ученый из меня не вышел, да зато я родителей не ослушался, старость их успокоил, похоронил с честью. Послушание паче поста и молитвы!

– Должно быть, вы уж все науки забыли! – заметил Кузьмичов.

– Как не забыть? Слава богу, уж восьмой десяток пошел! Из философии и риторики кое-что еще помню, а языки и математику совсем забыл.

Отец Христофор зажмурил глаза, подумал и сказал вполголоса:

– Что такое существо? Существо есть вещь самобытна, не требующая иного ко своему исполнению.

Он покрутил головой и засмеялся от умиления.

---

<sup>1</sup> Милый мальчик, как тебя зовут? (лат.)

<sup>2</sup> Христофор (лат.).

– Духовная пища! – сказал он. – Истинно, материя питает плоть, а духовная пища душу!  
– Науки науками, – вздохнул Кузьмичов, – а вот как не догоним Варламова, так и будет нам наука.

– Человек – не иголка, найдем. Он теперь в этих местах кружится.

Над осокой пролетели знакомые три бекаса, и в их писке слышались тревога и досада, что их согнали с ручья. Лошади степенно жевали и пофыркивали; Дениска ходил около них и, стараясь показать, что он совершенно равнодушен к огурцам, пирогам и яйцам, которые ели хозяева, весь погрузился в избиение слепней и мух, ослеплявших лошадиные животы и спины. Он апатично, издавая горлом какой-то особенный, ехидно-победный звук, хлопал по своим жертвам, а в случае неудачи досадливо кричал и провожал глазами всякого счастливца, избежавшего смерти.

– Дениска, где ты там! Поди ешь! – сказал Кузьмичов, глубоко вздыхая и тем давая знать, что он уже наелся.

Дениска несмело подошел к войлоку и выбрал себе пять крупных и желтых огурцов, так называемых «желтяков» (выбрать помельче и посвежее он посоветился), взял два печеных яйца, черных и с трещинами, потом нерешительно, точно боясь, чтобы его не ударили по протянутой руке, коснулся пальцем пирожка.

– Бери, бери! – поторопил его Кузьмичов.

Дениска решительно взял пирог и, отойдя далеко в сторону, сел на земле, спиной к бричке. Тотчас же послышалось такое громкое жеванье, что даже лошади обернулись и подозрительно поглядели на Дениску.

Закусивши, Кузьмичов достал из брички мешок с чем-то и сказал Егорушке:

– Я буду спать, а ты поглядывай, чтобы у меня из-под головы этого мешка не вытащили.

Отец Христофор снял рясу, пояс и кафтан, и Егорушка, взглянув на него, замер от удивления. Он никак не предполагал, что священники носят брюки, а на о. Христофоре были настоящие парусиновые брюки, засунутые в высокие сапоги, и кургузая пестрядинная курточка. Глядя на него, Егорушка нашел, что в этом неподобающем его сану костюме он, со своими длинными волосами и бородой, очень похож на Робинзона Крузе. Разоблачившись, о. Христофор и Кузьмичов легли в тень под бричкой, лицом друг к другу, и закрыли глаза. Дениска, кончив жевать, растянулся на припеке животом вверх и тоже закрыл глаза.

– Поглядывай, чтоб кто коней не увел! – сказал он Егорушке и тотчас же заснул.

Наступила тишина. Слышно было только, как фыркали и жевали лошади да похрапывали спящие; где-то неблизко плакал один чибис и изредка раздавался писк трех бекасов, прилетавших поглядеть, не уехали ли непрошеные гости; мягко картавя, журчал ручеек, но все эти звуки не нарушали тишины, не будили застывшего воздуха, а, напротив, вгоняли природу в дремоту.

Егорушка, задыхаясь от зноя, который особенно чувствовался теперь, после еды, побежал к осоке и отсюда оглядел местность. Увидел он то же самое, что видел и до полудня: равнину, холмы, небо, лиловую даль; только холмы стояли поближе да не было мельницы, которая осталась далеко назад. Из-за скалистого холма, где тек ручей, возвышался другой, поглаже и пошире; на нем лепился небольшой поселок из пяти-шести дворов. Около изб не было видно ни людей, ни деревьев, ни теней, точно поселок задохнулся в горячем воздухе и высох. От нечего делать Егорушка поймал в траве скрипача, поднес его в кулаке к уху и долго слушал, как тот играл на своей скрипке. Когда надоела музыка, он погнался за толпой желтых бабочек, прилетавших к осоке на водопой, и сам не заметил, как очутился опять возле брички. Дядя и о. Христофор крепко спали; сон их должен был продолжаться часа два-три, пока не отдохнут лошади... Как же убить это длинное время и куда деваться от зноя? Задача мудреная... Машинально Егорушка подставил рот под струйку, бежавшую из трубочки; во рту его стало холодно, и запахло болиголовом; пил он сначала с охотой, потом через силу и до тех пор, пока острый

холод изо рта не побежал по всему телу и пока вода не полилась по сорочке. Затем он подошел к бричке и стал глядеть на спящих. Лицо дяди по-прежнему выражало деловую сухость. Фанатик своего дела, Кузьмичов всегда, даже во сне и за молитвой в церкви, когда пели «Иже херувимы», думал о своих делах, ни на минуту не мог забыть о них, и теперь, вероятно, ему снились тюки с шерстью, подводы, цены, Варламов... Отец же Христофор, человек мягкий, легкомысленный и смешливый, во всю свою жизнь не знал ни одного такого дела, которое, как удав, могло бы сковать его душу. Во всех многочисленных делах, за которые он брался на своем веку, его прельщало не столько само дело, сколько суета и общение с людьми, присущие всякому предприятию. Так, в настоящей поездке его интересовали не столько шерсть, Варламов и цены, сколько длинный путь, дорожные разговоры, спанье под бричкой, еда не вовремя... И теперь, судя по его лицу, ему снились, должно быть, преосвященный Христофор, латинский диспут, его попадья, пышки со сметаной и все такое, что не могло сниться Кузьмичову.

В то время как Егорушка смотрел на сонные лица, неожиданно послышалось тихое пение. Где-то неблизко пела женщина, а где именно и в какой стороне, трудно было понять. Песня, тихая, тягучая и заунывная, похожая на плач и едва уловимая слухом, слышалась то справа, то слева, то сверху, то из-под земли, точно над степью носился невидимый дух и пел. Егорушка оглядывался и не понимал, откуда эта странная песня; потом же, когда он прислушался, ему стало казаться, что это пела трава; в своей песне она, полумертвая, уже погибшая, без слов, но жалобно и искренне убеждала кого-то, что она ни в чем не виновата, что солнце выжгло ее понапрасну; она уверяла, что ей страстно хочется жить, что она еще молода и была бы красивой, если бы не зной и не засуха; вины не было, но она все-таки просила у кого-то прощения и клялась, что ей невыносимо больно, грустно и жалко себя...

Егорушка послушал немного, и ему стало казаться, что от заунывной, тягучей песни воздух сделался душнее, жарче и неподвижнее... Чтобы заглушить песню, он, напевая и стараясь стучать ногами, побежал к осоке. Отсюда он поглядел во все стороны и нашел того, кто пел. Около крайней избы поселка стояла баба в короткой исподнице, длинноногая и голенастая, как цапля, что-то просеивала; из-под ее решета вниз по бугру лениво шла белая пыль. Теперь было очевидно, что пела она. На сажень от нее неподвижно стоял маленький мальчик в одной сорочке и без шапки. Точно очарованный песнею, он не шевелился и глядел куда-то вниз, вероятно, на кумачовую рубаху Егорушки.

Песня стихла. Егорушка поплелся к бричке и опять от нечего делать занялся струйкой воды.

И опять послышалась тягучая песня. Пела все та же голенастая баба за бугром в поселке. К Егорушке вдруг вернулась его скука. Он оставил трубочку и поднял глаза вверх. То, что увидел он, было так неожиданно, что он немножко испугался. Над его головой на одном из больших неуклюжих камней стоял маленький мальчик в одной рубахе, пухлый, с большим, оттопыренным животом и на тоненьких ножках, тот самый, который раньше стоял около бабы. С тупым удивлением и не без страха, точно видя перед собой выходцев с того света, он, не мигая и разинув рот, оглядывал кумачовую рубаху Егорушки и бричку. Красный цвет рубахи манил и ласкал его, а бричка и спавшие под ней люди возбуждали его любопытство; быть может, он и сам не заметил, как приятный красный цвет и любопытство притянули его из поселка вниз, и, вероятно, теперь удивлялся своей смелости. Егорушка долго оглядывал его, а он Егорушку. Оба молчали и чувствовали некоторую неловкость. После долгого молчания Егорушка спросил:

– Тебя как звать?

Щеки незнакомца еще больше распухли; он прижался спиной к камню, выпучил глаза, пошевелил губами и ответил сиплым басом:

– Тит.

Больше мальчики не сказали друг другу ни слова. Помолчав еще немного и не отрывая глаз от Егорушки, таинственный Тит задрал вверх одну ногу, нащупал пяткой точку опоры и взобрался на камень; отсюда он, пятась назад и глядя в упор на Егорушку, точно боясь, чтобы тот не ударил его сзади, поднялся на следующий камень и так поднимался до тех пор, пока совсем не исчез за верхушкой бугра.

Проводив его глазами, Егорушка обнял колени руками и склонил голову... Горячие лучи жгли ему затылок, шею и спину. Заунывная песня то замирала, то опять проносилась в стоячем, душном воздухе, ручей монотонно журчал, лошади жевали, а время тянулось бесконечно, точно и оно застыло и остановилось. Казалось, что с утра прошло уже сто лет... Не хотел ли бог, чтобы Егорушка, бричка и лошади замерли в этом воздухе и, как холмы, окаменели бы и остались навеки на одном месте?

Егорушка поднял голову и посоловевшими глазами поглядел вперед себя; лиловая даль, бывшая до сих пор неподвижною, закачалась и вместе с небом понеслась куда-то еще дальше... Она потянула за собою бурую траву, осоку, и Егорушка понесся с необычайною быстротою за убегавшею далью. Какая-то сила бесшумно влекла его куда-то, а за ним вдогонку неслись зной и томительная песня. Егорушка склонил голову и закрыл глаза...

Первый проснулся Дениска. Его что-то укусило, потому что он вскочил, быстро почесал плечо и проговорил:

– Анафема идолова, нет на тебя погибели!

Затем он подошел к ручью, напился и долго умывался. Его фырканье и плеск воды вывели Егорушку из забытья. Мальчик поглядел на его мокрое лицо, покрытое каплями и крупными веснушками, которые делали лицо похожим на мрамор, и спросил:

– Скоро поедем?

Дениска поглядел, как высоко стоит солнце, и ответил:

– Должно, скоро.

Он вытерся подолом рубахи и, сделав очень серьезное лицо, запрыгал на одной ноге.

– А ну-ка, кто скорей доскачет до осоки! – сказал он.

Егорушка был изнеможен зноем и полусном, но все-таки поскакал за ним. Дениске было уже около двадцати лет, служил он в кучерах и собирался жениться, но не перестал еще быть маленьким. Он очень любил пускать змеи, гонять голубей, играть в бабки, бегать вдогонки и всегда вмешивался в детские игры и ссоры. Нужно было только хозяевам уйти или уснуть, чтобы он занялся чем-нибудь вроде прыганья на одной ножке или подбрасыванья камешков. Всякому взрослому при виде того искреннего увлечения, с каким он резвился в обществе малолетков, трудно было удержаться, чтобы не проговорить: «Этакая дубина!» Дети же во вторжении большого кучера в их область не видели ничего странного; пусть играет, лишь бы не дрался! Точно так маленькие собаки не видят ничего странного, когда в их компанию затесывается какой-нибудь большой, породистый пес и начинает играть с ними.

Дениска перегнал Егорушку и, по-видимому, остался этим очень доволен. Он подмигнул глазом и, чтобы показать, что он может проскакать на одной ножке какое угодно пространство, предложил Егорушке: не хочет ли тот проскакать с ним по дороге и оттуда, не отдыхая, назад к бричке? Егорушка отклонил это предложение, потому что очень запыхался и ослабел.

Вдруг Дениска сделал очень серьезное лицо, какого он не делал, даже когда Кузьмичов распекал его или замахивался на него палкой; прислушиваясь, он тихо опустился на одно колено, и на лице его показалось выражение строгости и страха, какое бывает у людей, слышащих ересь. Он нацелился на одну точку глазами, медленно поднял вверх кисть руки, сложенную лодочкой, и вдруг упал животом на землю и хлопнул лодочкой по траве.

– Есть! – прохрипел он торжествуя и, вставши, поднес к глазам Егорушки большого кузнечика.

Думая, что это приятно кузнечнику, Егорушка и Дениска погладили его пальцами по широкой зеленой спине и потрогали его усики. Потом Дениска поймал жирную муху, насосавшуюся крови, и предложил ее кузнечнику. Тот очень равнодушно, точно давно уже был знаком с Дениской, задвигал своими большими, похожими на забрало челюстями и отъел мухе живот. Его выпустили, он сверкнул розовой подкладкой своих крыльев и, опустившись в траву, тотчас же затрещал свою песню. Выпустили и муху; она расправила крылья и без живота полетела к лошадям.

Из-под брички послышался глубокий вздох. Это проснулся Кузьмичов. Он быстро поднял голову, беспокойно поглядел вдаль, и по этому взгляду, безучастно скользнувшему мимо Егорушки и Дениски, видно было, что, проснувшись, он думал о шерсти и Варламове.

– Отец Христофор, вставайте, пора! – заговорил он встревоженно. – Будет спать, и так уж дело проспало! Дениска, запрягай!

Отец Христофор проснулся с такою же улыбкою, с какою уснул. Лицо его от сна помялось, поморщилось и, казалось, стало вдвое меньше. Умывшись и одевшись, он не спеша вытащил из кармана маленький засаленный псалтирь и, став лицом к востоку, начал шепотом читать и креститься.

– Отец Христофор! – сказал укоризненно Кузьмичов. – Пора ехать, уж лошади готовы, а вы, ей-богу...

– Сейчас, сейчас... – забормотал о. Христофор. – Кафизмы почитать надо... Не читал еще нынче.

– Можно и после с кафизмами.

– Иван Иваныч, на каждый день у меня положение... Нельзя.

– Бог не взыскал бы.

Целую четверть часа о. Христофор стоял неподвижно лицом к востоку и шевелил губами, а Кузьмичов почти с ненавистью глядел на него и нетерпеливо пожимал плечами. Особенно его сердило, когда о. Христофор после каждой «славы» втягивал в себя воздух, быстро крестился и намеренно громко, чтоб другие крестились, говорил трижды:

– Аллилуя, аллилуя, аллилуя, слава тебе, боже!

Наконец он улыбнулся, поглядел вверх на небо и, кладя псалтирь в карман, сказал:

– Finis!<sup>3</sup>

Через минуту бричка тронулась в путь. Точно она ехала назад, а не дальше, путники видели то же самое, что и до полудня. Холмы все еще тонули в лиловой дали, и не было видно их конца; мелькал бурьян, булыжник, проносились сжатые полосы, и все те же грачи да коршун, солидно взмахивающий крыльями, летали над степью. Воздух все больше застывал от зноя и тишины, покорная природа цепенела в молчании... Ни ветра, ни бодрого, свежего звука, ни облачка.

Но вот наконец, когда солнце стало спускаться к западу, степь, холмы и воздух не выдержали гнета и, истощивши терпение, измучившись, попытались сбросить с себя иго. Из-за холмов неожиданно показалось пепельно-седое кудрявое облако. Оно переглянулось со степью – я, мол, готово – и нахмурилось. Вдруг в стоячем воздухе что-то порвалось, сильно рванул ветер и с шумом, со свистом закружился по степи. Тотчас же трава и прошлогодний бурьян подняли ропот, на дороге спирально закружилась пыль, побежала по степи и, увлекая за собой солому, стрекоз и перья, черным вертящимся столбом поднялась к небу и затуманила солнце. По степи, вдоль и поперек, спотыкаясь и прыгая, побежали перекасти-поле, а одно из них попало в вихрь, завертелось, как птица, полетело к небу и, обратившись там в черную точку, исчезло из виду. За ним понеслось другое, потом третье, и Егорушка видел, как два перекасти-поля столкнулись в голубой вышине и вцепились друг в друга, как на поединке.

---

<sup>3</sup> Кончил! (лат.)

У самой дороги вспорхнул стрепет. Мелькая крыльями и хвостом, он, залитый солнцем, походил на рыболовную блесну или на прудового мотылька, у которого, когда он мелькает над водой, крылья сливаются с усиками, и кажется, что усики растут у него и спереди, и сзади, и с боков... Дрожа в воздухе как насекомое, играя своей пестротой, стрепет поднялся высоко вверх по прямой линии, потом, вероятно испуганный облаком пыли, понесся в сторону, и долго еще было видно его мелькание...

А вот, встревоженный вихрем и не понимая, в чем дело, из травы вылетел коростель. Он летел за ветром, а не против, как все птицы; от этого его перья взъерошились, весь он раздулся до величины курицы и имел очень сердитый, внушительный вид. Одни только грачи, составившиеся в степи и привыкшие к степным переполохам, покойно носились над травой или же равнодушно, ни на что не обращая внимания, долбили своими толстыми клювами черствую землю.

За холмами глухо прогремел гром; подуло свежестью. Дениска весело свистнул и стегнул по лошадям. Отец Христофор и Кузьмичов, придерживая свои шляпы, устремили глаза на холмы... Хорошо, если бы брызнул дождь!

Еще бы, кажется, небольшое усилие, одна потуга, и степь взяла бы верх. Но невидимая гнетущая сила мало-помалу сковала ветер и воздух, уложила пыль, и опять, как будто ничего не было, наступила тишина. Облако спряталось, загорелые холмы нахмурились, воздух покорно застыл, и одни только встревоженные чибисы где-то плакали и жаловались на судьбу...

Затем скоро наступил вечер.

### III

В вечерних сумерках показался большой одноэтажный дом с ржавой железной крышей и с темными окнами. Этот дом назывался постоялым двором, хотя возле него никакого двора не было и стоял он посреди степи ничем не огороженный. Несколько в стороне от него темнел жалкий вишневый садик с плетнем, да под окнами, склонив свои тяжелые головы, стояли спавшие подсолнечники. В садике трещала маленькая мельничка, поставленная для того, чтобы пугать стуком зайцев. Больше же около дома не было видно и слышно ничего, кроме степи.

Едва бричка остановилась около крылечка с навесом, как в доме послышались радостные голоса – один мужской, другой женский, – завизжала дверь на блоке, и около брички в одно мгновение выросла высокая тощая фигура, размахивавшая руками и фалдами. Это был хозяин постоялого двора Мойсей Мойсеич, немолодой человек с очень бледным лицом и с черной, как тушь, красивой бородой. Одет он был в поношенный черный сюртук, который болтался на его узких плечах, как на вешалке, и взмахивал фалдами, точно крыльями, всякий раз, как Мойсей Мойсеич от радости или в ужасе всплескивал руками. Кроме сюртука, на хозяине были еще широкие белые панталоны навыпуск и бархатная жилетка с рыжими цветами, похожими на гигантских клопов.

Мойсей Мойсеич, узнав приехавших, сначала замер от наплыва чувств, потом всплеснул руками и простонал. Сюртук его взмахнул фалдами, спина согнулась в дугу, и бледное лицо покривилось такой улыбкой, как будто видеть бричку для него было не только приятно, но и мучительно сладко.

– Ах, боже мой, боже мой! – заговорил он тонким, певучим голосом, задыхаясь, суетясь и своими телодвижениями мешая пассажирам вылезти из брички. – И такой сегодня для меня счастливый день! Ах, да что же я таперичка должен делать! Иван Иваныч! Отец Христофор! Какой же хорошенький паничок сидит на козлах, накажи меня бог! Ах, боже ж мой, да что же я стою на одном месте и не зову гостей в горницу? Пожалуйста, по-корнейше прошу... милости просим! Давайте мне все ваши вещи... Ах, боже мой!

Мойсей Мойсеич, шаря в бричке и помогая приезжим вылезать, вдруг обернулся назад и закричал таким диким, придушенным голосом, как будто тонул и звал на помощь:

– Соломон! Соломон!

– Соломон, Соломон! – повторил в доме женский голос.

Дверь на блоке завизжала, и на пороге показался невысокий молодой еврей, рыжий, с большим птичьим носом и с плешью среди жестких, кудрявых волос; одет он был в короткий, очень поношенный пиджак, с закругленными фалдами и с короткими рукавами, и в короткие триковые брючки, отчего сам казался коротким и кургузым, как ошипанная птица. Это был Соломон, брат Мойсея Мойсеича. Он молча, не здороваясь, а только как-то странно улыбаясь, подошел к бричке.

– Иван Иваныч и отец Христофор приехали! – сказал ему Мойсей Мойсеич таким тоном, как будто боялся, что тот ему не поверит. – Ай, вай, удивительное дело, такие хорошие люди взяли да приехали! Ну, бери, Соломон, вещи! Пожалуйста, дорогие гости!

Немного погодя Кузьмичов, о. Христофор и Егорушка сидели уже в большой, мрачной и пустой комнате за старым дубовым столом. Этот стол был почти одинок, так как в большой комнате, кроме него, широкого дивана с дырявой клеенкой да трех стульев, не было никакой другой мебели. Да и стулья не всякий решился бы назвать стульями. Это было какое-то жалкое подобие мебели с отжившей свой век клеенкой и с неестественно сильно загнутыми назад спинками, придававшими стульям большое сходство с детскими санями. Трудно было понять, какое удобство имел в виду неведомый столяр, загибая так немилосердно спинки, и хотелось думать, что тут виноват не столяр, а какой-нибудь проезжий силач, который, желая похвастать

своей силой, согнул стульям спины, потом взялся поправлять и еще больше согнул. Комната казалась мрачной. Стены были серы, потолок и карнизы закопчены, на полу тянулись щели и зияли дыры непонятного происхождения (думалось, что их пробил каблуком все тот же силач), и казалось, если бы в комнате повесили десяток ламп, то она не перестала бы быть темной. Ни на стенах, ни на окнах не было ничего похожего на украшения. Впрочем, на одной стене в серой деревянной раме висели какие-то правила с двуглавым орлом, а на другой, в такой же раме, какая-то гравюра с надписью: «Равнодушные человек». К чему человеки были равнодушны – понять было невозможно, так как гравюра сильно потускнела от времени и была щедро засижена мухами. Пахло в комнате чем-то затхлым и кислым.

Введя гостей в комнату, Мойсей Мойсеич продолжал изгибаться, всплескивать руками, пожиматься и радостно восклицать – все это считал он нужным проделывать для того, чтобы казаться необыкновенно вежливым и любезным.

– Когда проехали тут наши подводы? – спросил его Кузьмичов.

– Одна партия проехала нынче утречком, а другая, Иван Иваныч, отдыхала тут в обед и перед вечером уехала.

– А... Проезжал тут Варламов или нет?

– Нет, Иван Иваныч. Вчера утречком проезжал его приказчик Григорий Егорыч и говорил, что он, надо быть, таперичка на хуторе у молокана.

– Отлично. Значит, мы сейчас догоним обозы, а потом и к молокану.

– Да бог с вами, Иван Иваныч! – ужаснулся Мойсей Мойсеич, всплескивая руками. – Куда вы на ночь поедете? Вы поужинайте на здоровьечко и переночуйте, а завтра, бог даст, утречком поедете и догоните кого надо!

– Некогда, некогда... Извините, Мойсей Мойсеич, в другой раз как-нибудь, а теперь не время. Посидим четверть часика и поедем, а переночевать и у молокана можно.

– Четверть часика! – взвизгнул Мойсей Мойсеич. – Да побойтесь вы бога, Иван Иваныч! Вы меня заставьте, чтоб я ваши шапки спрятал и запер на замок дверь! Вы хоть закусите и чаю покушайте!

– Некогда нам с чаями да с сахарáми, – сказал Кузьмичов.

Мойсей Мойсеич склонил голову набок, согнул колени и выставил вперед ладони, точно обороняясь от ударов, и с мучительно-сладкой улыбкой стал умолять:

– Иван Иваныч! Отец Христофор! Будьте же такие добрые, покушайте у меня чайку! Неужели я уж такой нехороший человек, что у меня нельзя даже чай пить? Иван Иваныч!

– Что ж, чайку можно попить, – сочувственно вздохнул о. Христофор. – Это не задержит.

– Ну, ладно! – согласился Кузьмичов.

Мойсей Мойсеич встрепнулся, радостно ахнул и, пожимаясь так, как будто он только что выскочил из холодной воды в тепло, побежал к двери и закричал диким придушенным голосом, каким раньше звал Соломона:

– Роза! Роза! Давай самовар!

Через минуту открылась дверь, и в комнату с большим подносом в руках вошел Соломон. Ставя на стол поднос, он насмешливо глядел куда-то в сторону и по-прежнему странно улыбался. Теперь при свете лампочки можно было разглядеть его улыбку; она была очень сложной и выражала много чувств, но преобладающим в ней было одно – явное презрение. Он как будто думал о чем-то смешном и глупом, кого-то терпеть не мог и презирал, чему-то радовался и ждал подходящей минуты, чтобы уязвить насмешкой и покатиться со смеху. Его длинный нос, жирные губы и хитрые выпученные глаза, казалось, были напряжены от желания расхохотаться. Взглянув на его лицо, Кузьмичов насмешливо улыбнулся и спросил:

– Соломон, отчего же ты этим летом не приезжал к нам в N. на ярмарку жидов представлять?

Года два назад, что отлично помнил и Егорушка, Соломон в Н. на ярмарке, в одном из балаганов, рассказывал сцены из еврейского быта и пользовался большим успехом. Напоминание об этом не произвело на Соломона никакого впечатления. Ничего не ответив, он вышел и немного погодя вернулся с самоваром.

Сделав около стола свое дело, он пошел в сторону и, скрестив на груди руки, выставив вперед одну ногу, уставился своими насмешливыми глазами на о. Христофора. В его позе было что-то вызывающее, надменное и презрительное и в то же время в высшей степени жалкое и комическое, потому что чем внушительнее становилась его поза, тем ярче выступали на первый план его короткие брючки, куций пиджак, карикатурный нос и вся его птичья, ощипанная фигурка.

Мойсей Мойсеич принес из другой комнаты табурет и сел на некотором расстоянии от стола.

– Приятного аппетита! Чай да сахар! – начал он занимать гостей. – Кушайте на здоровьечко. Такие редкие гости, такие редкие, а отца Христофора я уж пять годов не видал. И никто не хочет мне сказать, чей это такой паничок хороший? – спросил он, нежно поглядывая на Егорушку.

– Это сынок сестры Ольги Ивановны, – ответил Кузьмичов.

– А куда же он едет?

– Учиться. В гимназию его везем.

Мойсей Мойсеич из вежливости изобразил на лице своем удивление и значительно покрутил головой.

– О, это хорошо! – сказал он, грозя самовару пальцем. – Это хорошо! Из гимназии выйдешь такой господин, что все мы будем шапке снимать. Ты будешь умный, богатый, с амбицией, а маменька будет радоваться. О, это хорошо!

Он помолчал немного, погладил себе колени и заговорил в почтительно-шутливом тоне:

– Уж вы меня извините, отец Христофор, а я собираюсь написать бумагу архиерею, что вы у купцов хлеб отбиваете. Возьму гербовую бумагу и напишу, что у отца Христофора, значит, своих грошей мало, что он занялся коммерцией и стал шерсть продавать.

– Да, вздумал вот на старости лет... – сказал о. Христофор и засмеялся. – Записался, брат, из попов в купцы. Теперь бы дома сидеть да богу молиться, а я скачу, аки фараон на колеснице... Суета!

– Зато грошей будет много!

– Ну да! Дулю мне под нос, а не гроши. Товар-то ведь не мой, а зятя Михайлы!

– Отчего же он сам не поехал?

– А оттого... Матернее молоко на губах еще не обсохло. Купить-то купил шерсть, а чтоб продать – ума нет, молод еще. Все деньги свои потратил, хотел нажиться и пыль пустить, а сунулся туда-сюда, ему и своей цены никто не дает. Этак помыкался парень с год, потом приходит ко мне и – «Папаша, продайте шерсть, сделайте милость! Ничего я в этих делах не понимаю!» То-то вот и есть. Как что, так сейчас и папаша, а прежде и без папаши можно было. Когда покупал, не спрашивался, а теперь, как приспичило, так и папаша. А что папаша? Коли б не Иван Иваныч, так и папаша ничего б не сделал. Хлопоты с ними!

– Да, хлопотно с детьми, я вам скажу! – вздохнул Мойсей Мойсеич. – У меня у самого шесть человек. Одного учи, другого лечи, третьего на руках носи, а когда вырастут, так еще больше хлопот. Не только таперичка, даже в Священном писании так было. Когда у Иакова были маленькие дети, он плакал, а когда они выросли, еще хуже стал плакать!

– М-да... – согласился о. Христофор, задумчиво глядя на стакан. – Мне-то, собственно, нечего бога гневить, я достиг предела своей жизни, как дай бог всякому... Дочек за хороших людей определил, сынов в люди вывел и теперь свободен, свое дело сделал, хоть на все четыре стороны иди. Живу со своей попадью потихоньку, кушаю, пью да сплю, на внучат радуюсь да

богу молюсь, а больше мне ничего и не надо. Как сыр в масле катаюсь и знать никого не хочу. Отродясь у меня никакого горя не было, и теперь ежели б, скажем, царь спросил: «Что тебе надобно? Чего хочешь?» Да ничего мне не надобно! Все у меня есть, все слава богу. Счастливей меня во всем городе человека нет. Только вот грехов много, да ведь и то сказать, один бог без греха. Ведь верно?

– Стало быть, верно.

– Ну, конечно, зубов нет, спину от старости ломит, то да се... одышка и всякое там... Болею, плоть немощна, ну да ведь сам посуди, пожил! Восьмой десяток! Не век же вековать, надо и честь знать.

Отец Христофор вдруг что-то вспомнил, прыснул в стакан и закашлялся от смеха. Мойсей Мойсеич из приличия тоже засмеялся и закашлялся.

– Потеха! – сказал о. Христофор и махнул рукой. – Приезжает ко мне в гости старший сын мой Гаврила. Он по медицинской части и служит в Черниговской губернии в земских докторах... Хорошо-с... Я ему и говорю: «Вот, говорю, одышка, то да се... Ты доктор, лечи отца!» Он сейчас меня раздел, постукал, послушал, разные там штуки... живот помял, потом и говорит: «Вам, папаша, надо, говорит, лечиться сжатым воздухом».

Отец Христофор захохотал судорожно, до слез и поднялся.

– А я ему и говорю: «Бог с ним, с этим сжатым воздухом!» – выговорил он сквозь смех и махнул обеими руками. – Бог с ним, с этим сжатым воздухом!

Мойсей Мойсеич тоже поднялся и, взявшись за живот, залился тонким смехом, похожим на лай болонки.

– Бог с ним, с этим сжатым воздухом! – повторил о. Христофор, хохоча.

Мойсей Мойсеич взял двумя ногами выше и закатился таким судорожным смехом, что едва устоял на ногах.

– О боже мой... – стонал он среди смеха. – Дайте вздохнуть... Так насмешили, что... ох!.. – смерть моя.

Он смеялся и говорил, а сам между тем пугливо и подозрительно посматривал на Соломона. Тот стоял в прежней позе и улыбался. Судя по его глазам и улыбке, он презирал и ненавидел серьезно, но это так не шло к его ощипанной фигурке, что, казалось Егорушке, вызывающую позу и едкое, презрительное выражение придал он себе нарочно, чтобы разыграть шута и насмешить дорогих гостей.

Выпив молча стаканов шесть, Кузьмичов расчистил перед собой на столе место, взял мешок, тот самый, который, когда он спал под бричкой, лежал у него под головой, развязал на нем веревочку и потряс им. Из мешка посыпались на стол пачки кредитных бумажек.

– Пока время есть, давайте, отец Христофор, посчитаем, – сказал Кузьмичов.

Увидев деньги, Мойсей Мойсеич сконфузился, встал и, как деликатный человек, не желающий знать чужих секретов, на цыпочках и балансируя руками, вышел из комнаты. Соломон остался на своем месте.

– В рублевых пачках по сколько? – начал о. Христофор.

– По пятьдесят... В трехрублевках по девяносто... Четвертные и сторублевые по тысячам сложены. Вы отсчитайте семь тысяч восемьсот для Варламова, а я буду считать для Гусевича. Да смотрите, не просчитайте...

Егорушка отродясь не видал такой кучи денег, какая лежала теперь на столе. Денег, вероятно, было очень много, так как пачка в семь тысяч восемьсот, которую о. Христофор отложил для Варламова, в сравнении со всей кучей казалась очень маленькой. В другое время такая масса денег, быть может, поразила бы Егорушку и вызвала его на размышления о том, сколько на эту кучу можно купить бубликов, бабок, маковников; теперь же он глядел на нее безучастно и чувствовал только противный запах гнилых яблок и керосина, шедший от кучи. Он был измучен тряской ездой на бричке, утомился и хотел спать. Его голову тянуло вниз, глаза слипались,

и мысли путались, как нитки. Если б можно было, он с наслаждением склонил бы голову на стол, закрыл бы глаза, чтоб не видеть лампы и пальцев, двигавшихся над кучей, и позволил бы своим вялым, сонным мыслям еще больше запутаться. Когда он силился не дремать, ламповый огонь, чашки и пальцы двоились, самовар качался, а запах гнилых яблок казался еще острее и противнее.

– Ах, деньги, деньги! – вздыхал о. Христофор, улыбаясь. – Горе с вами! Теперь мой Михайло небось спит и видит, что я ему такую кучу привезу.

– Ваш Михайло Тимофеич человек непонимающий, – говорил вполголоса Кузьмичов, – не за свое дело берется, а вы понимаете и можете рассудить. Отдали бы вы мне, как я говорил, вашу шерсть и ехали бы себе назад, а я б вам, так и быть уж, дал бы по полтиннику поверх своей цены, да и то только из уважения...

– Нет, Иван Иваныч, – вздыхал о. Христофор. – Благодарим вас за внимание... Конечно, ежели б моя воля, я б и разговаривать не стал, а то ведь, сами знаете, товар не мой...

Вошел на цыпочках Мойсей Мойсеич. Стараясь из деликатности не глядеть на кучу денег, он подкрался к Егорушке и дернул его сзади за рубаху.

– А пойдем-ка, паничок, – сказал он вполголоса, – какого я тебе медведика покажу! Такой страшный, сердитый! У-у!

Сонный Егорушка встал и лениво поплелся за Мойсеем Мойсеичем смотреть медведя. Он вошел в небольшую комнатку, где, прежде чем он увидел что-нибудь, у него захватило дыхание от запаха чего-то кислого и затхлого, который здесь был гораздо гуще, чем в большой комнате, и, вероятно, отсюда распространялся по всему дому. Одна половина комнатки была занята большою постелью, покрытой сальным стеганым одеялом, а другая комодом и горами всевозможного тряпья, начиная с жестко накрахмаленных юбок и кончая детскими штанишками и помочами. На комодке горела сальная свечка.

Вместо обещанного медведя Егорушка увидел большую, очень толстую еврейку с распущенными волосами и в красном фланелевом платье с черными крапинками; она тяжело поворачивалась в узком проходе между постелью и комодом и издавала протяжные, стонущие вздохи, точно у нее болели зубы. Увидев Егорушку, она сделала плачущее лицо, протяжно вздохнула и, прежде чем он успел оглядеться, поднесла к его рту ломоть хлеба, вымазанный медом.

– Кушай, детка, кушай! – сказала она. – Ты здесь без маменьке, и тебя некому покормить. Кушай.

Егорушка стал есть, хотя после леденцов и маковников, которые он каждый день ел у себя дома, не находил ничего хорошего в меду, наполовину смешанном с воском и с пчелиными крыльями. Он ел, а Мойсей Мойсеич и еврейка глядели и вздыхали.

– Ты куда едешь, детка? – спросила еврейка.

– Учиться, – ответил Егорушка.

– А сколько вас у маменьке?

– Я один. Больше нету никого.

– А-ох! – вздохнула еврейка и подняла вверх глаза. – Бедная маменьке, бедная маменьке! Как же она будет скучать и плакать! Через год мы тоже повезем в ученье своего Наума! Ох!

– Ах, Наум, Наум! – вздохнул Мойсей Мойсеич, и на его бледном лице нервно задрожала кожа. – А он такой больной.

Сальное одеяло зашевелилось, и из-под него показалась кудрявая детская голова на очень тонкой шее; два черных глаза блеснули и с любопытством уставились на Егорушку. Мойсей Мойсеич и еврейка, не переставая вздыхать, подошли к комоду и стали говорить о чем-то по-еврейски. Мойсей Мойсеич говорил вполголоса, низким баском, и, в общем, его еврейская речь походила на непрерывное «гал-гал-гал-гал...», а жена отвечала ему тонким индюшечьим голоском, и у нее выходило что-то вроде «ту-ту-ту-ту...». Пока они совещались, из-под саль-

ного одеяла выглянула другая кудрявая головка на тонкой шее, за ней третья, потом четвертая... Если бы Егорушка обладал богатой фантазией, то мог бы подумать, что под одеялом лежала стоголовая гидра.

– Гал-гал-гал-гал... – говорил Мойсей Мойсеич.

– Ту-ту-ту-ту... – отвечала ему еврейка.

Совещание кончилось тем, что еврейка с глубоким вздохом полезла в комод, развернула там какую-то зеленую тряпку и достала большой ржаной пряник в виде сердца.

– Возьми, детка, – сказала она, подавая Егорушке пряник. – У тебя теперь нету маменьке, некому тебе гостинца дать.

Егорушка сунул в карман пряник и попятился к двери, так как был уже не в силах дышать затхлым и кислым воздухом, в котором жили хозяева. Вернувшись в большую комнату, он поудобней примостился на диване и уж не мешал себе думать.

Кузьмичов только что кончил считать деньги и клал их обратно в мешок. Обращался он с ними не особенно почтительно и валил их в грязный мешок без всякой церемонии с таким равнодушием, как будто это были не деньги, а бумажный хлам.

Отец Христофор беседовал с Соломоном.

– Ну что, Соломон премудрый? – спрашивал он, зевая и крестя рот. – Как дела?

– Это вы про какие дела говорите? – спросил Соломон и поглядел так ехидно, как будто ему намекали на какое-нибудь преступление.

– Вообще... Что подельываешь?

– Что я подельываю? – переспросил Соломон и пожал плечами. – То же, что и все... Вы видите: я лакей. Я лакей у брата, брат лакей у проезжающих, проезжающие лакеи у Варламова, а если бы я имел десять миллионов, то Варламов был бы у меня лакеем.

– То есть почему же это он был бы у тебя лакеем?

– Почему? А потому, что нет такого барина или миллионера, который из-за лишней копейки не стал бы лизать рук у жида пархатого. Я теперь жид пархатый и нищий, все на меня смотрят, как на собаку, а если б у меня были деньги, то Варламов передо мной ломал бы такого дурака, как Мойсей перед вами.

Отец Христофор и Кузьмичов переглянулись. Ни тот, ни другой не поняли Соломона. Кузьмичов строго и сухо поглядел на него и спросил:

– Как же ты, дурак этакой, равняешь себя с Варламовым?

– Я еще не настолько дурак, чтобы равнять себя с Варламовым, – ответил Соломон, насмешливо оглядывая своих собеседников. – Варламов хоть и русский, но в душе он жид пархатый; вся жизнь у него в деньгах и в наживе, а я свои деньги спалил в печке. Мне не нужны ни деньги, ни земля, ни овцы, и не нужно, чтоб меня боялись и снимали шапки, когда я еду. Значит, я умней вашего Варламова и больше похож на человека!

Немного погодя Егорушка сквозь полусон слышал, как Соломон голосом глухим и сиплым от душившей его ненависти, картавя и спеша, заговорил об евреях: сначала говорил он правильно, по-русски, потом же впал в тон рассказчиков из еврейского быта и стал говорить, как когда-то в балагане, с утрированным еврейским акцентом.

– Постой... – перебил его о. Христофор. – Если тебе твоя вера не нравится, так ты ее перемени, а смеяться грех; тот последний человек, кто над своей верой глумится.

– Вы ничего не понимаете! – грубо оборвал его Соломон. – Я вам говорю одно, а вы другое...

– Вот и видно сейчас, что ты глупый человек, – вздохнул о. Христофор. – Я тебя наставляю, как умею, а ты сердишься. Я тебя по-стариковски, потихоньку, а ты, как индюк: бла-бла-бла! Чудак, право...

Вошел Мойсей Мойсеич. Он встревоженно поглядел на Соломона и на своих гостей, и опять на его лице нервно задрожала кожа. Егорушка встряхнул головой и поглядел вокруг себя;

мельком он увидел лицо Соломона и как раз в тот момент, когда оно было обращено к нему в три четверти и когда тень от его длинного носа пересекла всю левую щеку; презрительная улыбка, смешанная с этою тенью, блестящие, насмешливые глаза, надменное выражение и вся его ошипанная фигурка, двоясь и мелькая в глазах Егорушки, делали его теперь похожим не на шута, а на что-то такое, что иногда снится, – вероятно, на нечистого духа.

– Какой-то он у вас бесноватый, Мойсей Мойсеич, бог с ним! – сказал с улыбкой о. Христофор. – Вы бы его пристроили куда-нибудь или женили, что ли... На человека не похож...

Кузьмичов сердито нахмурился. Мойсей Мойсеич опять встревоженно и пытливо поглядел на брата и на гостей.

– Соломой, выйди отсюда! – строго сказал он. – Выйди!

И он прибавил еще что-то по-еврейски. Соломон отрывисто засмеялся и вышел.

– А что такое? – испуганно спросил Мойсей Мойсеич о. Христофора.

– Забывается, – ответил Кузьмичов. – Грубитель и много о себе понимает.

– Так и знал! – ужаснулся Мойсей Мойсеич, всплескивая руками. – Ах, боже мой! Боже мой! – забормотал он вполголоса. – Уж вы будьте добрые, извините и не сердчайте. Это такой человек, такой человек! Ах, боже мой! Боже мой! Он мне родной брат, но, кроме горя, я от него ничего не видел. Ведь он, знаете...

Мойсей Мойсеич покрутил пальцем около лба и продолжал:

– Не в своем уме... пропащий человек. И что мне с ним делать, не знаю! Никого он не любит, никого не почитает, никого не боится... Знаете, над всеми смеется, говорит глупости, всякому в глаза тычет. Вы не можете поверить, раз приехал сюда Варламов, а Соломон такое ему сказал, что тот ударил кнутом и его и мене... А мене за что? Разве я виноват? Бог отнял у него ум, значит, это божья воля, а я разве виноват?

Прошло минут десять, а Мойсей Мойсеич все еще бормотал вполголоса и вздыхал:

– Ночью он не спит и все думает, думает, думает, а о чем он думает, бог его знает. Подойдешь к нему ночью, а он сердится и смеется. Он и меня не любит... И ничего он не хочет! Папаша, когда помирал, оставил ему и мне по шести тысяч рублей. Я купил себе постоянный двор, женился и таперичка деточек имею, а он спалил свои деньги в печке. Так жалко, так жалко! Зачем палить? Тебе не надо, так отдай мне, а зачем же палить?

Вдруг завизжала дверь на блоке и задрожал пол от чьих-то шагов. На Егорушку пахнуло легким ветерком, и показалось ему, что какая-то большая черная птица пронеслась мимо и у самого лица его взмахнула крыльями. Он открыл глаза... Дядя с мешком в руках, готовый в путь, стоял возле дивана. О. Христофор, держа широкополый цилиндр, кому-то кланялся и улыбался не мягко и не умиленно, как всегда, а почтительно и натянуто, что очень не шло к его лицу. А Мойсей Мойсеич, точно его тело разломалось на три части, балансировал и всячески старался не рассыпаться. Один только Соломон как ни в чем не бывало стоял в углу, скрестив руки, и по-прежнему презрительно улыбался.

– Ваше сиятельство, извините, у нас не чисто! – стонал Мойсей Мойсеич с мучительно-сладкой улыбкой, уже не замечая ни Кузьмичова, ни о. Христофора, а только балансируя всем телом, чтобы не рассыпаться. – Мы люди простые, ваше сиятельство!

Егорушка протер глаза. Посреди комнаты стояло действительно сиятельство в образе молодой, очень красивой и полной женщины в черном платье и в соломенной шляпе. Прежде чем Егорушка успел разглядеть ее черты, ему почему-то пришел на память тот одинокий, стройный тополь, который он видел днем на холме.

– Проезжал здесь сегодня Варламов? – спросил женский голос.

– Нет, ваше сиятельство! – ответил Мойсей Мойсеич.

– Если завтра увидите его, то попросите, чтобы он ко мне заехал на минутку.

Вдруг, совсем неожиданно, на полвершка от своих глаз, Егорушка увидел черные бархатные брови, большие карие глаза и выхоленные женские щеки с ямочками, от которых, как лучи от солнца, по всему лицу разливалась улыбка. Чем-то великолепно запахло.

– Какой хорошенький мальчик! – сказала дама. – Чей это? Казимир Михайлович, посмотрите, какая прелесть! Боже мой, он спит! Бутуз ты мой милый...

И дама крепко поцеловала Егорушку в обе щеки, и он улыбнулся и, думая, что спит, закрыл глаза. Дверной блок завизжал, и послышались торопливые шаги: кто-то входил и выходил.

– Егорушка! Егорушка! – раздался густой шепот двух голосов. – Вставай, ехать!

Кто-то, кажется Дениска, поставил Егорушку на ноги и повел его за руку; на пути он открыл наполовину глаза и еще раз увидел красивую женщину в черном платье, которая целовала его. Она стояла посреди комнаты и, глядя, как он уходил, улыбалась и дружелюбно кивала ему головой. Подходя к двери, он увидел какого-то красивого и плотного брюнета в шляпе котелком и в крагах. Должно быть, это был провожатый дамы.

– Тпрр! – донеслось со двора.

У порога дома Егорушка увидел новую, роскошную коляску и пару черных лошадей. На козлах сидел лакей в ливрее и с длинным хлыстом в руках. Провожать уезжающих вышел один только Соломон. Лицо его было напряжено от желания расхохотаться; он глядел так, как будто с большим нетерпением ждал отъезда гостей, чтобы вволю посмеяться над ними.

– Графиня Драницкая, – прошептал о. Христофор, ползая в бричку.

– Да, графиня Драницкая, – повторил Кузьмичов тоже шепотом.

Впечатление, произведенное приездом графини, было, вероятно, очень сильно, потому что даже Дениска говорил шепотом и только тогда решился стегнуть по гнедым и крикнуть, когда бричка проехала с четверть версты и когда далеко назад вместо постоянного двора виден уж был один только тусклый огонек.

## IV

Кто же, наконец, этот неуловимый, таинственный Варламов, о котором так много говорят, которого презирает Соломон и который нужен даже красивой графине? Севши на передок рядом с Дениской, полусонный Егорушка думал именно об этом человеке. Он никогда не видел его, но очень часто слышал о нем и нередко рисовал его в своем воображении. Ему известно было, что Варламов имеет несколько десятков тысяч десятин земли, около сотни тысяч овец и очень много денег; об его образе жизни и занятиях Егорушке было известно только то, что он всегда «кружился в этих местах» и что его всегда ищут.

Много слышал Егорушка у себя дома и о графине Драницкой. Она тоже имела несколько десятков тысяч десятин, много овец, конский завод и много денег, но не «кружилась», а жила у себя в богатой усадьбе, про которую знакомые и Иван Иваныч, не раз бывавший у графини по делам, рассказывали много чудесного; так, говорили, что в графининой гостиной, где висят портреты всех польских королей, находились большие столовые часы, имевшие форму утеса, на утесе стоял дыбом золотой конь с бриллиантовыми глазами, а на коне сидел золотой всадник, который всякий раз, когда часы били, взмахивал шашкой направо и налево. Рассказывали также, что раза два в год графиня давала бал, на который приглашались дворяне и чиновники со всей губернии и приезжал даже Варламов; все гости пили чай из серебряных самоваров, ели все необыкновенное (например, зимою, на Рождество, подавались малина и клубника) и плясали под музыку, которая играла день и ночь...

«А какая она красивая!» – думал Егорушка, вспоминая ее лицо и улыбку.

Кузьмичов, вероятно, тоже думал о графине, потому что, когда бричка проехала версты две, он сказал:

– Да и здорово же обирает ее этот Казимир Михайлыч! В третьем годе, когда я у нее, помните, шерсть покупал, он на одной моей покупке тысячи три нажил.

– От ляха иного и ждать нельзя, – сказал о. Христофор.

– А ей и горюшка мало. Сказано, молодая да глупая. В голове ветер так и ходит!

Егорушке почему-то хотелось думать только о Варламове и графине, в особенности о последней. Его сонный мозг совсем отказался от обыкновенных мыслей, туманился и удерживал одни только сказочные, фантастические образы, которые имеют то удобство, что как-то сами собой, без всяких хлопот со стороны думающего, зарождаются в мозгу и сами – стоит только хорошенько встряхнуть головой – исчезают бесследно; да и все, что было кругом, не располагало к обыкновенным мыслям. Направо темнели холмы, которые, казалось, заслоняли собой что-то неведомое и страшное, налево все небо над горизонтом было залито багровым заревом, и трудно было понять, был ли то где-нибудь пожар, или же собиралась восходить луна. Даль была видна, как и днем, но уж ее нежная лиловая окраска, затушеванная вечерней мглой, пропала, и вся степь пряталась во мгле, как дети Мойсея Мойсеича под одеялом.

В июльские вечера и ночи уже не кричат перепела и коростели, не поют в лесных балочках соловьи, не пахнет цветами, но степь все еще прекрасна и полна жизни. Едва зайдет солнце и землю окутает мгла, как дневная тоска забыта, все прощено, и степь легко вздыхает широкою грудью. Как будто от того, что траве не видно в потемках своей старости, в ней поднимается веселая молодая трескотня, какой не бывает днем; треск, подсвистыванье, царапанье, степные басы, тенора и дисканты – все мешается в непрерывный, монотонный гул, под который хорошо вспоминать и грустить. Однообразная трескотня убаюкивает, как колыбельная песня; едешь и чувствуешь, что засыпаешь, но вот откуда-то доносится отрывистый, тревожный крик неуслышавшей птицы или раздастся неопределенный звук, похожий на чей-то голос вроде удивленного «а-а!», и дремота опускает веки. А то, бывало, едешь мимо балочки, где есть кусты, и слышишь, как птица, которую степняки зовут сплюком, кому-то кричит: «Сплю! сплю! сплю!».

а другая хохочет или заливается истерическим плачем – это сова. Для кого они кричат и кто их слушает на этой равнине, бог их знает, но в крике их много грусти и жалобы... Пахнет сеном, высушенной травой и запоздалыми цветами, но запах густ, сладко-приторен и нежен.

Сквозь мглу видно все, но трудно разобрать цвет и очертания предметов. Все представляется не тем, что оно есть. Едешь и вдруг видишь: впереди у самой дороги стоит силуэт, похожий на монаха; он не шевелится, ждет и что-то держит в руках... Не разбойник ли это? Фигура приближается, растет, вот она поравнялась с бричкой, и вы видите, что это не человек, а одинокий куст или большой камень. Такие неподвижные, кого-то поджидающие фигуры стоят на холмах, прячутся за курганами, выглядывают из бурьяна, и все они походят на людей и внушают подозрение.

А когда восходит луна, ночь становится бледной и темной. Мглы как не бывало. Воздух прозрачен, свеж и тепел, всюду хорошо видно, и даже можно различить у дороги отдельные стебли бурьяна. На далекое пространство видны черепа и камни. Подозрительные фигуры, похожие на монахов, на светлом фоне ночи кажутся чернее и смотрят угрюмее. Чаше и чаще среди монотонной трескотни, тревожа неподвижный воздух, раздается чье-то удивленное «а-а!» и слышится крик неуснувшей или бредящей птицы. Широкие тени ходят по равнине, как облака по небу, а в непонятной дали, если долго всматриваться в нее, высветятся и громоздятся друг на друга туманные, причудливые образы... Немножко жутко. А взглянешь на бледно-зеленое, усыпанное звездами небо, на котором ни облачка, ни пятна, и поймешь, почему теплый воздух недвижим, почему природа настороже и боится шевельнуться: ей жутко и жаль утратить хоть одно мгновение жизни. О необъятной глубине и безграничности неба можно судить только на море да в степи ночью, когда светит луна. Оно страшно, красиво и ласково, глядит томно и манит к себе, а от ласки его кружится голова.

Едешь час-другой... Попадается на пути молчаливый старик курган или каменная баба, поставленная бог знает кем и когда, бесшумно пролетит над землею ночная птица, и мало-помалу на память приходят степные легенды, рассказы встречных, сказки няньки-степнячки и все то, что сам сумел увидеть и постичь душою. И тогда в трескотне насекомых, в подозрительных фигурах и курганах, в голубом небе, в лунном свете, в полете ночной птицы, во всем, что видишь и слышишь, начинают чудиться торжество красоты, молодость, расцвет сил и страстная жажда жизни; душа дает отклик прекрасной, суровой родине, и хочется лететь над степью вместе с ночной птицей. И в торжестве красоты, в излишке счастья чувствуешь напряжение и тоску, как будто степь сознает, что она одинока, что богатство ее и вдохновение гибнут даром для мира, никем не воспетые и никому не нужные, и сквозь радостный гул слышишь ее тоскливый, безнадежный призыв: певца! певца!

– Тпрр! Здорово, Пантелей! Все благополучно?

– Слава богу, Иван Иваныч!

– Не видали, ребята, Варламова?

– Нет, не видали.

Егорушка проснулся и открыл глаза. Бричка стояла. Направо по дороге далеко вперед тянулся обоз, около которого сновали какие-то люди. Все возы, потому что на них лежали большие тюки с шерстью, казались очень высокими и пухлыми, а лошади – маленькими и коротконогими.

– Так мы, значит, теперь к молокану поедem! – громко говорил Кузьмичов. – Жид сказывал, что Варламов у молокана ночует. В таком случае прощайте, братцы! С богом!

– Прощайте, Иван Иваныч! – ответило несколько голосов.

– Вот что, ребята, – живо сказал Кузьмичов, – вы бы взяли с собой моего парнишку! Что ему с нами зря болтаться? Посади его, Пантелей, к себе на тюк, и пусть себе едет помаленьку, а мы догоним. Ступай, Егор! Иди, ничего!..

Егорушка слез с передка. Несколько рук подхватило его, подняло высоко вверх, и он очутился на чем-то большом, мягком и слегка влажном от росы. Теперь ему казалось, что небо было близко к нему, а земля далеко.

– Эй, возьми свою пальтишку! – крикнул где-то далеко внизу Дениска.

Пальто и узелок, подброшенные снизу, упали возле Егорушки. Он быстро, не желая ни о чем думать, положил под голову узелок, укрылся пальто и, протягивая ноги во всю длину, пожимаясь от росы, засмеялся от удовольствия.

«Спать, спать, спать...» – думал он.

– Вы же, черти, его не забижайте! – слышался снизу голос Дениски.

– Прощайте, братцы! С богом! – крикнул Кузьмичов. – Я на вас надеюсь!

– Будьте покойны, Иван Иваныч!

Дениска ахнул на лошадей, бричка взвизгнула и покатила, но уж не по дороге, а куда-то в сторону. Минуты две было тихо, точно обоз уснул, и только слышалось, как вдали мало-помалу замирало лязганье ведра, привязанного к задку брички. Но вот впереди обоза кто-то крикнул:

– Кирюха, тро-о-гай!

Заскрипел самый передний воз, за ним другой, третий... Егорушка почувствовал, как воз, на котором он лежал, покачнулся и тоже заскрипел. Обоз тронулся. Егорушка крепче взялся рукой за веревку, которою был перевязан тюк, еще засмеялся от удовольствия, поправил в кармане пряник и стал засыпать так, как он обыкновенно засыпал у себя дома в постели...

Когда он проснулся, уже восходило солнце; курган заслонял его собою, а оно, стараясь брызнуть светом на мир, напряженно палило свои лучи во все стороны и заливало горизонт золотом. Егорушке показалось, что оно было не на своем месте, так как вчера оно восходило сзади за его спиной, а сегодня много левее... Да и вся местность не походила на вчерашнюю. Холмов уже не было, а всюду, куда ни взглянешь, тянулась без конца бурая, невеселая равнина; кое-где на ней высились небольшие курганы и летали вчерашние грачи. Далеко впереди белели колокольни и избы какой-то деревни; по случаю воскресного дня хохлы сидели дома, пекли и варили – это видно было по дыму, который шел изо всех труб и сизой, прозрачной пеленой висел над деревней. В промежутках между изб и за церковью синела река, а за нею туманилась даль. Но ничто не походило так мало на вчерашнее, как дорога. Что-то необыкновенно широкое, размашистое и богатырское тянулось по степи вместо дороги; то была серая полоса, хорошо выезженная и покрытая пылью, как все дороги, но шириною в несколько десятков сажен. Своим простором она возбудила в Егорушке недоумение и навела его на сказочные мысли. Кто по ней ездит? Кому нужен такой простор? Непонятно и странно. Можно в самом деле подумать, что на Руси еще не перевелись громадные, широко шагающие люди вроде Ильи Муромца и Соловья Разбойника и что еще не вымерли богатырские кони. Егорушка, взглянув на дорогу, вообразил штук шесть высоких, рядом скачущих колесниц, вроде тех, какие он видывал на рисунках в священной истории; заложены эти колесницы в шестерки диких, бешеных лошадей и своими высокими колесами поднимают до неба облака пыли, а лошадьми правят люди, какие могут сниться или вырастать в сказочных мыслях. И как бы эти фигуры были к лицу степи и дороге, если бы они существовали!

По правой стороне дороги на всем ее протяжении стояли телеграфные столбы с двумя проволоками. Становясь все меньше и меньше, они около деревни исчезали за избами и зеленью, а потом опять показывались в лиловой дали в виде очень маленьких, тоненьких палочек, похожих на карандаши, воткнутые в землю. На проволоках сидели ястребы, кобчики и вороны и равнодушно глядели на двигавшийся обоз.

Егорушка лежал на самом заднем возу и мог поэтому видеть весь обоз. Всех подвод в обозе было около двадцати, и на каждые три подводы приходилось по одному возчику. Около заднего воза, где был Егорушка, шел старик с седой бородой, такой же тощий и малорослый, как о. Христофор, но с лицом бурым от загара, строгим и задумчивым. Очень может быть,

что этот старик не был ни строг, ни задумчив, но его красные веки и длинный, острый нос придавали его лицу строгое, сухое выражение, какое бывает у людей, привыкших думать всегда о серьезном и в одиночку. Как и на о. Христофоре, на нем был широкополый цилиндр, но не барский, а войлочный и бурый, похожий скорее на усеченный конус, чем на цилиндр. Ноги его были босы. Вероятно, по привычке, приобретенной в холодные зимы, когда не раз небось приходилось ему мерзнуть около обоза, он на ходу похлопывал себя по бедрам и притопывал ногами. Заметив, что Егорушка проснулся, он поглядел на него и сказал, пожимаясь, как от мороза:

– А, проснулся, молодчик! Сыном Ивану Иванычу-то доводишься?

– Нет, племянник...

– Ивану Иванычу-то? А я вот сапожки снял и босиком прыгаю. Ножки у меня больные, стуженые, а без сапогов оно выходит слободнее... Слободнее, молодчик... То есть без сапогов-то... Значит, племянник? А он хороший человек, ничего... Дай бог здоровья... Ничего... Я про Ивана Иваныча-то... К молокану поехал... О господи, помилуй!

Старик и говорил так, как будто было очень холодно, с расстановками и не раскрывая как следует рта; и губные согласные выговаривал он плохо, заикаясь на них, точно у него замерзли губы. Обращаясь к Егорушке, он ни разу не улыбнулся и казался строгим.

Дальше через две подводы шел с кнутом в руке человек в длинном рыжем пальто, в картузе и сапогах с опустившимися голенищами. Этот был не стар, лет сорока. Когда он оглянулся, Егорушка увидел длинное красное лицо с жидкой козлиной бородкой и с губчатой шишкой под правым глазом. Кроме этой очень некрасивой шишки, у него была еще одна особая примета, резко бросающаяся в глаза: в левой руке держал он кнут, а правую помахивал таким образом, как будто дирижировал невидимым хором; изредка он брал кнут под мышку и тогда уж дирижировал обеими руками и что-то гудел себе под нос.

Следующий за ним подводчик представлял из себя длинную, прямолинейную фигуру с сильно покатыми плечами и с плоской, как доска, спиной. Он держался прямо, как будто маршировал или проглотил аршин, руки у него не болтались, а отвисали, как прямые палки, и шагал он как-то деревянно, на манер игрушечных солдатиков, почти не сгибая колен и стараясь сделать шаг возможно пошире; когда старик или обладатель губчатой шишки делали по два шага, он успевал делать только один, и потому казалось, что он идет медленнее всех и отстает. Лицо у него было подвязано тряпкой и на голове торчало что-то вроде монашеской скуфейки; одет он был в короткую хохлацкую чумарку, всю усыпанную латками, и в синие шаровары навыпуск, а обут в лапти.

Тех, кто был дальше, Егорушка уже не разглядывал. Он лег животом вниз, расковырял в тюке дырочку и от нечего делать стал вить из шерсти ниточки. Старик, шагавший внизу, оказался не таким строгим и серьезным, как можно было судить по его лицу. Раз начавши разговор, он уж не прекращал его.

– Ты куда же едешь? – спросил он, притопывая ногами.

– Учиться, – ответил Егорушка.

– Учиться? Ага... Ну, помогай царица небесная. Так. Ум хорошо, а два лучше. Одному человеку бог один ум дает, а другому два ума, а иному и три... Иному три, это верно... Один ум, с каким мать родила, другой от учения, а третий от хорошей жизни. Так вот, братуша, хорошо, ежели у которого человека три ума. Тому не то что жить, и помирать легче. Помирать-то... А попрем все как есть.

Старик почесал себе лоб, взглянул красными глазами вверх на Егорушку и продолжал:

– Максим Николаич, барин из-под Славяносербска, в прошлом годе тоже повез своего парнишку в учение. Не знаю, как он там в рассуждении наук, а парнишка ничего, хороший... Дай бог здоровья, славные господа. Да, тоже вот повез в ученье... В Славяносербском нету такого заведения, чтоб, стало быть, до науки доводить. Нету... А город ничего, хороший...

Школа обыкновенная, для простого звания есть, а чтоб насчет большого ученья, таких нету... Нету, это верно. Тебя как звать?

– Егорушка.

– Стало быть, Егорий... Святого великомученика Егория Победоносца числа двадцать третьего апреля. А мне святое имя Пантелей... Пантелей Захаров Холодов... Мы Холодовы будем... Сам я урожденный, может, слышал, из Тима, Курской губернии. Браты мои в мещане отписались и в городе мастерством занимаются, а я мужик... Мужиком остался. Годов семь назад ездил я туда... домой то есть. И в деревне был и в городе... В Тиме, говорю, был. Тогда, благодарить бога, все живы и здоровы были, а теперь не знаю... Может, кто и помер... А помирать уж время, потому все старые, есть которые постаршее меня. Смерть ничего, оно хорошо, да только бы, конечно, без покаяния не помереть. Нет пуще лиха, как наглая смерть. Наглая-то смерть бесу радость. А коли хочешь с покаянием помереть, чтобы, стало быть, в чертоги божии запрету тебе не было, Варваре-великомученице молись. Она ходатайница. Она, это верно... Потому ей бог в небесах такое положение определил, чтоб, значит, каждый имел полную праву ее насчет покаяния молить.

Пантелей бормотал и, по-видимому, не заботился о том, слышит его Егорушка или нет. Говорил он вяло, себе под нос, не повышая и не понижая голоса, но в короткое время успел рассказать о многом. Все рассказанное им состояло из обрывков, имевших очень мало связи между собой и совсем неинтересных для Егорушки. Быть может, он говорил только для того, чтобы теперь утром после ночи, проведенной в молчании, произвести вслух проверку своим мыслям: все ли они дома? Кончив о покаянии, он опять заговорил о каком-то Максиме Николаевиче из-под Славяносербска:

– Да, повез парнишку... Повез, это верно...

Один из подводчиков, шедших далеко впереди, рванулся с места, побежал в сторону и стал хлестать кнутом по земле. Это был рослый, широкоплечий мужчина лет тридцати, русский, кудрявый и, по-видимому, очень сильный и здоровый. Судя по движениям его плеч и кнута, по жадности, которую выражала его поза, он бил что-то живое. К нему подбежал другой подводчик, низенький и коренастый, с черной окладистой бородой, одетый в жилетку и рубаху навыпуск. Этот разразился басистым, кашляющим смехом и закричал:

– Братцы, Дымов змея убил! Ей-богу!

Есть люди, об уме которых можно верно судить по их голосу и смеху. Чернобородый принадлежал именно к таким счастливым: в его голосе и смехе чувствовалась непроходимая глупость. Кончив хлестать, русский Дымов поднял кнутом с земли и со смехом швырнул к подводам что-то похожее на веревку.

– Это не змея, а уж, – крикнул кто-то.

Деревянно шагавший человек с подвязанным лицом быстро зашагал к убитой змее, взглянул на нее и всплеснул своими палкообразными руками.

– Каторжный! – закричал он глухим, плачущим голосом. – За что ты ужика убил? Что он тебе сделал, проклятый ты? Ишь ужика убил! А ежели бы тебя так?

– Ужа нельзя убивать, это верно... – покойно забормотал Пантелей. – Нельзя... Это не гадюка. Он хоть по виду змея, а тварь тихая, безвинная... Человека любит... Уж-то...

Дымову и чернобородому, вероятно, стало совестно, потому что они громко засмеялись и, не отвечая на ропот, лениво поплелись к своим возам. Когда задняя подвода поравнялась с тем местом, где лежал убитый уж, человек с подвязанным лицом, стоящий над ужом, обернулся к Пантелею и спросил плачущим голосом:

– Дед, ну за что он убил ужика?

Глаза у него, как теперь разглядел Егорушка, были маленькие, тусклые, лицо серое, большое и тоже как будто тусклое, а подбородок был красен и представлялся сильно опухшим.

– Дед, ну за что убил? – повторил он, шагая рядом с Пантелеем.

– Глупый человек, руки чешутся, оттого и убил, – ответил старик. – А ужа бить нельзя... Это верно... Дымов, известно, озорник, все убьет, что под руку попадет, а Кирюха не вступился. Вступить бы надо, а он – ха-ха-ха да хо-хо-хо... А ты, Вася, не сердчай... Зачем сердчать? Убили, ну и бог с ними... Дымов озорник, а Кирюха от глупого ума... Ничего... Люди глупые, непонимающие, ну и бог с ними. Вот Емельян никогда не тронет, что не надо. Никогда, это верно... Потому человек образованный, а они глупые... Емельян-то... Он не тронет...

Подводчик в рыжем пальто и с губчатой шишкой, дирижировавший невидимым хором, услышав свое имя, остановился и, выждав, когда Пантелей и Вася поравнялись с ним, пошел рядом.

– О чем разговор? – спросил он сиплым, придушенным голосом.

– Да вот Вася сердчает, – сказал Пантелей. – Я ему разные слова, чтобы он не сердчал, значит... Эх, ножки мои больные, стуженые! Э-эх! Раззуделись ради воскресенья, праздничка господня!

– Это от ходьбы, – заметил Вася.

– Не, паря, не... Не от ходьбы. Когда хожу, словно легче, когда ложусь да согреюсь – смерть моя. Ходить мне вольготней.

Емельян в рыжем пальто стал между Пантелеем и Васей и замахал рукой, как будто те собирались петь. Помахав немножко, он опустил руку и безнадежно крикнул.

– Нету у меня голосу! – сказал он. – Чистая напасть! Всю ночь и утро мерещится мне тройное «Господи, помилуй», что мы на венчании у Мариновского пели; сидит оно в голове и в глотке... так бы, кажется, и спел, а не могу! Нету голосу!

Он помолчал минуту, о чем-то думая, и продолжал:

– Пятнадцать лет был в певчих, во всем Луганском заводе, может, ни у кого такого голоса не было, а как, чтоб его шут, выкупался в третьем году в Донце, так с той поры ни одной ноты не могу взять чисто. Глотку застудил. А мне без голоса все равно что работнику без руки.

– Это верно, – согласился Пантелей.

– Об себе я так понимаю, что я пропащий человек, и больше ничего.

В это время Вася нечаянно увидел Егорушку. Глаза его замаслились и стали еще меньше.

– И паничек с нами едет! – сказал он и прикрыл нос рукавом, точно застыдившись. – Какой извозчик важный! Оставайся с нами, будешь с обозом ездить, шерсть возить.

Мысль о совместимости в одном теле паничка с извозчиком показалась ему, вероятно, очень курьезной и остроумной, потому что он громко захихикал и продолжал развивать эту мысль. Емельян тоже взглянул вверх на Егорушку, но мельком и холодно. Он был занят своими мыслями, и если бы не Вася, то не заметил бы присутствия Егорушки. Не прошло и пяти минут, как он опять замахал рукой, потом, расписывая своим спутникам красоты венчального «Господи, помилуй», которое ночью пришло ему на память, взял кнут под мышку и замахал обеими руками.

За версту от деревни обоз остановился около колодца с журавлем. Опуская в колодец свое ведро, чернобородый Кирюха лег животом на сруб и сунул в темную дыру свою мохнатую голову, плечи и часть груди, так что Егорушке были видны одни только его короткие ноги, едва касавшиеся земли; увидев далеко на дне колодца отражение своей головы, он обрадовался и залился глупым, басовым смехом, а колодезное эхо ответило ему тем же; когда он поднялся, его лицо и шея были красны, как кумач. Первый подбежал пить Дымов. Он пил со смехом, часто отрываясь от ведра и рассказывая Кирюхе о чем-то смешном, потом повернулся и громко, на всю степь, произнес штук пять нехороших слов. Егорушка не понимал значения подобных слов, но что они были дурные, ему было хорошо известно. Он знал об отвращении, которое молчаливо питали к ним его родные и знакомые, сам, не зная почему, разделял это чувство и привык думать, что одни только пьяные да буйные пользуются привилегией произносить громко эти слова. Он вспомнил убийство ужа, прислушался к смеху Дымова и почувствовал к

этому человеку что-то вроде ненависти. И, как нарочно, Дымов в это время увидел Егорушку, который слез с воза и шел к колодцу; он громко засмеялся и крикнул:

– Братцы, старик ночью мальчишку родил!

Кирюха закашлялся от басового смеха. Засмеялся и еще кто-то, а Егорушка покраснел и окончательно решил, что Дымов очень злой человек.

Русый, с кудрявой головой, без шапки и с расстегнутой на груди рубахой, Дымов казался красивым и необыкновенно сильным; в каждом его движении виден был озорник и силач, знающий себе цену. Он поводил плечами, подбоченивался, говорил и смеялся громче всех и имел такой вид, как будто собирался поднять одной рукой что-то очень тяжелое и удивить этим весь мир. Его шальной насмешливый взгляд скользил по дороге, по обозу и по небу, ни на чем не останавливался и, казалось, искал, кого бы еще убить от нечего делать и над чем бы посмеяться. По-видимому, он никого не боялся, ничем не стеснял себя и, вероятно, совсем не интересовался мнением Егорушки... А Егорушка уж всей душой ненавидел его русую голову, чистое лицо и силу, с отвращением и страхом слушал его смех и придумывал, какое бы бранное слово сказать ему в отместку.

Пантелей тоже подошел к ведру. Он вынул из кармана зеленый лампадный стаканчик, вытер его тряпочкой, зачерпнул им из ведра и выпил, потом еще раз зачерпнул, завернул стаканчик в тряпочку и положил его обратно в карман.

– Дед, зачем ты пьешь из лампадки? – удивился Егорушка.

– Кто пьет из ведра, а кто из лампадки, – ответил уклончиво старик. – Каждый по-своему... Ты из ведра пьешь, ну и пей на здоровье...

– Голубушка моя, матушка-красавица, – заговорил вдруг Вася ласковым, плачущим голосом. – Голубушка моя!

Глаза его были устремлены вдаль, они замаслились, улыбались, и лицо приняло такое же выражение, какое у него было ранее, когда он глядел на Егорушку.

– Кому это ты? – спросил Кирюха.

– Лисичка-матушка... легла на спину и играет, словно собачка...

Все стали смотреть вдаль и искать глазами лисицу, но ничего не нашли. Один только Вася видел что-то своими мутными серыми глазками и восхищался. Зрение у него, как потом убедился Егорушка, было поразительно острое. Он видел так хорошо, что бурая пустынная степь была для него всегда полна жизни и содержания. Стоило ему только взглянуть в даль, чтобы увидеть лисицу, зайца, дрохву или другое какое-нибудь животное, держащее себя подальше от людей. Немудрено увидеть убегающего зайца или летящую дрохву – это видел всякий проезжавший степью, но не всякому доступно видеть диких животных в их домашней жизни, когда они не бегут, не прячутся и не глядят встревоженно по сторонам. А Вася видел играющих лисиц, зайцев, умывающихся лапками, дрохв, расправляющих крылья, стрепетов, выбивающих свои «точки». Благодаря такой остроте зрения, кроме мира, который видели все, у Васи был еще другой мир, свой собственный, никому не доступный и, вероятно, очень хороший, потому что, когда он глядел и восхищался, трудно было не завидовать ему.

Когда обоз тронулся дальше, в церкви зазвонили к обедне.

## V

Обоз расположился в стороне от деревни на берегу реки. Солнце жгло по-вчерашнему, воздух был неподвижен и уныл. На берегу стояло несколько верб, но тень от них падала не на землю, а на воду, где пропадала даром, в тени же под возами было душно и скучно. Вода, голубая оттого, что в ней отражалось небо, страстно манила к себе.

Подводчик Степка, на которого только теперь обратил внимание Егорушка, восемнадцатилетний мальчик хохол, в длинной рубахе, без пояса и в широких шароварах навывпуск, болтавшихся при ходьбе, как флаги, быстро разделся, сбегал вниз по крутому бережку и бултыхнулся в воду. Он раза три нырнул, потом поплыл на спине и закрыл от удовольствия глаза. Лицо его улыбалось и морщилось, как будто ему было щекотно, больно и смешно.

В жаркий день, когда некуда деваться от зноя и духоты, плеск воды и громкое дыхание купающегося человека действуют на слух, как хорошая музыка. Дымов и Кирюха, глядя на Степку, быстро разделись и, один за другим, с громким смехом и предвкушая наслаждение, попадали в воду. И тихая, скромная речка огласилась фырканием, плеском и криком. Кирюха кашлял, смеялся и кричал так, как будто его хотели утопить, а Дымов гонялся за ним и старался схватить его за ногу.

– Ге-ге-ге! – кричал он. – Лови, держи его!

Кирюха хохотал и наслаждался, но выражение лица у него было такое же, как и на суше: глупое, ошеломленное, как будто кто незаметно подкрался к нему сзади и хватил его обухом по голове. Егорушка тоже разделся, но не спускался вниз по бережку, а разбежался и полетел с полуторасаженной вышины. Описав в воздухе дугу, он упал в воду, глубоко погрузился, но дна не достал; какая-то сила, холодная и приятная на ощупь, подхватила его и понесла обратно вверх. Он вынырнул и, фыркая, пуская пузыри, открыл глаза; но на реке как раз возле его лица отражалось солнце. Сначала ослепительные искры, потом радуги и темные пятна заходили в его глазах; он поспешил опять нырнуть, открыл в воде глаза и увидел что-то мутно-зеленое, похожее на небо в лунную ночь. Опять та же сила, не давая ему коснуться дна и побыть в прохладе, понесла его вверх, он вынырнул и вздохнул так глубоко, что стало просторно и свежо не только в груди, но даже в животе. Потом, чтобы взять от воды все, что только можно взять, он позволял себе всякую роскошь: лежал на спине и нежился, брызгался, кувыркался, плавал и на животе, и боком, и на спине, и встоячую – как хотел, пока не утомился. Другой берег густо порос камышом, золотился на солнце, и камышовые цветы красивыми кистями наклонились к воде. На одном месте камыш вздрагивал, кланялся своими цветами и издавал треск – то Степка и Кирюха «драли» раков.

– Рак! Гляди, братцы: рак! – закричал торжествуя Кирюха и показал действительно рака.

Егорушка поплыл к камышу, нырнул и стал шарить около камышовых кореньев. Копаясь в жидком, осклизлом иле, он нащупал что-то острое и противное, может быть, и в самом деле рака, но в это время кто-то схватил его за ногу и потащил вверх. Захлебываясь и кашляя, Егорушка открыл глаза и увидел перед собой мокрое, смеющееся лицо озорника Дымова. Озорник тяжело дышал и, судя по глазам, хотел продолжать шалить. Он крепко держал Егорушку за ногу и уж поднял другую руку, чтобы схватить его за шею, но Егорушка с отвращением и со страхом, точно брезгуя и боясь, что силач его утопит, рванулся от него и проговорил:

– Дурак! Я тебе в морду дам!

Чувствуя, что этого недостаточно для выражения ненависти, он подумал и прибавил:

– Мерзавец! Сукин сын!

А Дымов как ни в чем не бывало уже не замечал Егорушки, а плыл к Кирюхе и кричал:

– Ге-ге-гей! Давайте рыбу ловить! Ребята, рыбу ловить!

– А что ж? – согласился Кирюха. – Должно, тут много рыбы...

– Степка, побеги на деревню, попроси у мужиков бредня!

– Не дадут!

– Дадут! Ты попроси! Скажи, чтоб они заместо Христа ради, потому мы все равно – странники.

– Это верно!

Степка вылез из воды, быстро оделся и без шапки, болтая своими широкими шароварами, побежал к деревне. После столкновения с Дымовым вода потеряла уже для Егорушки всякую прелесть. Он вылез и стал одеваться. Пантелей и Вася сидели на крутом берегу, свесив вниз ноги, и глядели на купающихся. Емельян голый стоял по колена в воде у самого берега, держался одной рукой за траву, чтобы не упасть, а другою гладил себя по телу. С костистыми лопатками, с шишкой под глазом, согнувшийся и явно трусивший воды, он представлял из себя смешную фигуру. Лицо у него было серьезное, строгое, глядел он на воду сердито, как будто собирался выбрать ее за то, что она когда-то простудила его в Донце и отняла у него голос.

– А ты отчего не купаешься? – спросил Егорушка у Васи.

– А так... Не люблю... – ответил Вася.

– Отчего это у тебя подбородок распух?

– Болит... Я, паничек, на спичечной фабрике работал... Доктор сказывал, что от этого самого у меня и черлюсть пухнет. Там воздух нездоровый. А кроме меня, еще у троих ребят черлюсть раздуло, а у одного так совсем сгнила.

Скоро вернулся Степка с бреднем. Дымов и Кирюха от долгого пребывания в воде стали лиловыми и охрипли, но за рыбную ловлю принялись с охотой. Сначала они пошли по глубокому месту, вдоль камыша; тут Дымову было по шею, а малорослому Кирюхе с головой; последний захлебывался и пускал пузыри, а Дымов, натываясь на колючие корни, падал и путался в бредне, оба барахтались и шумели, и из их рыбной ловли выходила одна шалость.

– Глыбоко, – хрипел Кирюха. – Ничего не поймаешь!

– Не дергай, черт! – кричал Дымов, стараясь придать бредню надлежащее положение. – Держи руками!

– Тут вы не поймаете! – кричал им с берега Пантелей. – Только рыбу пужаете, дурни! Забирайте влево! Там мельче!

Раз над бреднем блеснула крупная рыбешка; все ахнули, а Дымов ударил кулаком по тому месту, где она исчезла, и на лице его выразилась досада.

– Эх! – крикнул Пантелей и притопнул ногами. – Прозевали чикамаса! Ушел!

Забирая влево, Дымов и Кирюха мало-помалу выбрались на мелкое, и тут ловля пошла настоящая. Они забрели от подвод шагов на триста; видно было, как они, молча и еле двигая ногами, стараясь забирать возможно глубже и поближе к камышу, волокли бредень, как они, чтобы испугать рыбу и загнать ее к себе в бредень, били кулаками по воде и шуршали в камыше. От камыша они шли к другому берегу, тащили там бредень, потом с разочарованным видом, высоко поднимая колена, шли обратно к камышу. О чем-то они говорили, но о чем – не было слышно. А солнце жгло им спины, кусались мухи, и тела их из лиловых стали багровыми. За ними с ведром в руках, засучив рубаху под самые подмышки и держа ее зубами за подол, ходил Степка. После каждой удачной ловли он поднимал вверх какую-нибудь рыбу и, блестя ею на солнце, кричал:

– Поглядите, какой чикамас! Таких уж штук пять есть!

Видно было, как, вытащив бредень, Дымов, Кирюха и Степка всякий раз долго копались в иле, что-то клали в ведро, что-то выбрасывали; изредка что-нибудь попавшее в бредень они брали с рук на руки, рассматривали с любопытством, потом тоже бросали...

– Что там? – кричали им с берега.

Степка что-то отвечал, но трудно было разобрать его слова. Вот он вылез из воды и, держа ведро обеими руками, забывая опустить рубаху, побежал к подводам.

– Уже полное! – кричал он, тяжело дыша. – Давайте другое!

Егорушка заглянул в ведро: оно было полно; из воды высывала свою некрасивую морду молодая щука, а возле нее копошились раки и мелкие рыбешки. Егорушка запустил руку на дно и взболтал воду; щука исчезла под раками, а вместо нее всплыли наверх окунь и линь. Вася тоже заглянул в ведро. Глаза его замаслились, и лицо стало ласковым, как раньше, когда он видел лисицу. Он вынул что-то из ведра, поднес ко рту и стал жевать. Послышалось хрустенье.

– Братцы, – удивился Степка, – Васька пескаря живьем ест! Тьфу!

– Это не пескарь, а бобырик, – покойно ответил Вася, продолжая жевать.

Он вынул изо рта рыбий хвостик, ласково поглядел на него и опять сунул в рот. Пока он жевал и хрустел зубами, Егорушке казалось, что он видит перед собой не человека. Пухлый подбородок Васи, его тусклые глаза, необыкновенно острое зрение, рыбий хвостик во рту и ласковость, с какою он жевал пескаря, делали его похожим на животное.

Егорушке стало скучно возле него. Да и рыбная ловля уже кончилась. Он прошелся около возов, подумал и от скуки поплелся к деревне.

Немного погодя он уже стоял в церкви и, положив лоб на чью-то спину, пахнувшую коноплей, слушал, как пели на клиросе. Обедня уже близилась к концу. Егорушка ничего не понимал в церковном пении и был равнодушен к нему. Он послушал немного, зевнул и стал рассматривать затылки и спины. В одном затылке, рыжем и мокром от недавнего купанья, он узнал Емельяна. Затылок был выстрижен под скобку и выше, чем принято; виски были тоже выстрижены выше, чем следует, и красные уши Емельяна торчали, как два лопуха, и, казалось, чувствовали себя не на своем месте. Глядя на затылок и на уши, Егорушка почему-то подумал, что Емельян, вероятно, очень несчастлив. Он вспомнил его дирижирование, сильный голос, робкий вид во время купанья и почувствовал к нему сильную жалость. Ему захотелось сказать что-нибудь ласковое.

– А я здесь! – сказал он, дернув его за рукав.

Люди, поющие в хоре тенором или басом, особенно те, которым хоть раз в жизни приходилось дирижировать, привыкают смотреть на мальчиков строго и нелюдимо. Эту привычку не оставляют они и потом, переставая быть певчими. Обернувшись к Егорушке, Емельян поглядел на него исподлобья и сказал:

– Не балуйся в церкви!

Затем Егорушка пробрался вперед, поближе к иконостасу. Тут он увидел интересных людей. Впереди всех по правую сторону на ковре стояли какие-то господин и дама. Позади них стояло по стулу. Господин был одет в свежевыглаженную чечунчовую пару, стоял неподвижно, как солдат, отдающий честь, и высоко держал свой синий, бритый подбородок. В его стоячих воротничках, в синеве подбородка, в небольшой лысине и в трости чувствовалось очень много достоинства. От избытка достоинства шея его была напряжена и подбородок тянуло вверх с такой силой, что голова, казалось, каждую минуту готова была оторваться и полететь вверх. А дама, полная и пожилая, в белой шелковой шали, склонила голову набок и глядела так, как будто только что сделала кому-то одолжение и хотела сказать: «Ах, не беспокойтесь благодарить! Я этого не люблю...» Вокруг ковра густой стеной стояли хохлы.

Егорушка подошел к иконостасу и стал прикладываться к местным иконам. Перед каждым образом он не спеша клал земной поклон, не вставая с земли, оглядываясь назад на народ, потом вставал и прикладывался. Прикосновение лбом к холодному полу доставляло ему большое удовольствие. Когда из алтаря вышел сторож с длинными щипцами, чтобы тушить свечи, Егорушка быстро вскочил с земли и побежал к нему.

– Раздавали уж просфору? – спросил он.

– Нету, нету... – угрюмо забормотал сторож. – Нечего тут...

Обедня кончилась. Егорушка не спеша вышел из церкви и пошел бродить по площади. На своем веку перевидал он немало деревень, площадей и мужиков, и все, что теперь попало ему на глаза, совсем не интересовало его. От нечего делать, чтобы хоть чем-нибудь убить время, он зашел в лавку, над дверями которой висела широкая кумачовая полоса. Лавка состояла из двух просторных, плохо освещенных половин: в одной продавались красный товар и бакалея, а в другой стояли бочки с дегтем и висели на потолке хомуты; из той, другой, шел вкусный запах кожи и дегтя. Пол в лавке был полит; поливал его, вероятно, большой фантазер и вольнодумец, потому что весь он был покрыт узорами и кабалистическими знаками. За прилавком, опершись животом о конторку, стоял откормленный лавочник с широким лицом и с круглой бородой, по-видимому великоросс. Он пил чай вприкуску и после каждого глотка выпускал глубокий вздох. Лицо его выражало совершенное равнодушие, но в каждом вздохе слышалось: «Ужо погоди, задам я тебе!»

– Дай мне на копейку подсолнухов! – обратился к нему Егорушка.

Лавочник поднял брови, вышел из-за прилавка и всыпал в карман Егорушки на копейку подсолнухов, причем мерой служила пустая помадная баночка. Егорушке не хотелось уходить. Он долго рассматривал ящики с пряниками, подумал и спросил, указывая на мелкие вяземские пряники, на которых от давности лет выступила ржавчина:

– Почему эти пряники?

– Копейка пара.

Егорушка достал из кармана пряник, подаренный ему вчера еврейкой, и спросил:

– А такие пряники у тебя почему?

Лавочник взял в руки пряник, оглядел его со всех сторон и поднял одну бровь.

– Такие? – спросил он.

Потом поднял другую бровь, подумал и ответил:

– Три копейки пара...

Наступило молчание.

– Вы чьи? – спросил лавочник, наливая себе чаю из красного медного чайника.

– Племянник Ивана Иваныча.

– Иваны Иванычи разные бывают, – вздохнул лавочник; он поглядел через Егорушкину голову на дверь, помолчал и спросил: – Чайку не желаете ли?

– Пожалуй... – согласился Егорушка с некоторой неохотой, хотя чувствовал сильную тоску по утреннему чаю.

Лавочник налил ему стакан и подал вместе с огрызанным кусочком сахара. Егорушка сел на складной стул и стал пить. Он хотел еще спросить, сколько стоит фунт миндаля в сахаре, и только что завел об этом речь, как вошел покупатель, и хозяин, отставив в сторону свой стакан, занялся делом. Он повел покупателя в ту половину, где пахло дегтем, и долго о чем-то разговаривал с ним. Покупатель, человек, по-видимому, очень упрямый и себе на уме, все время в знак несогласия мотал головой и пятился к двери. Лавочник убедил его в чем-то и начал сыпать ему овес в большой мешок.

– Хиба це овес? – сказал печально покупатель. – Це не овес, а полова, курам на смих... Ни, пиду к Бондаренку!

Когда Егорушка вернулся к реке, на берегу дымил небольшой костер. Это подводчики варили себе обед. В дыму стоял Степка и большой зазубренной ложкой мешал в котле. Несколько в стороне, с красными от дыма глазами, сидели Кирюха и Вася и чистили рыбу. Перед ними лежал покрытый илом и водорослями бредень, на котором блестела рыба и ползали раки.

Недавно вернувшийся из церкви Емельян сидел рядом с Пантелеем, помахивал рукой и едва слышно напевал сирым голосом: «Тебе поем...» Дымов бродил около лошадей.

Кончив чистить, Кирюха и Вася собрали рыбу и живых раков в ведро, всполоснули и из ведра вывалили все в кипевшую воду.

– Класть сала? – спросил Степка, снимая ложкой пену.

– Зачем? Рыба свой сок пустит, – ответил Кирюха.

Перед тем как снимать с огня котел, Степка бросил в воду три пригоршни пшена и ложку соли; в заключение он попробовал, почмокал губами, облизал ложку и самодовольно крякнул – это значило, что каша уже готова.

Все, кроме Пантелея, сели вокруг котла и принялись работать ложками.

– Вы! Дайте парнишке ложку! – строго заметил Пантелей. – Чай, небось тоже есть хочет!

– Наша еда мужицкая!.. – вздохнул Кирюха.

– И мужицкая пойдет во здравие, была бы охота.

Егорушке дали ложку. Он стал есть, но не садясь, а стоя у самого котла и глядя в него, как в яму. От каши пахло рыбной сыростью, то и дело среди пшена попадалась рыбья чешуя; раков нельзя было зацепить ложкой, и обедавшие доставали их из котла прямо руками; особенно не стеснялся в этом отношении Вася, который мочил в каше не только руки, но и рукава. Но каша все-таки показалась Егорушке очень вкусной и напоминала ему раковый суп, который дома в постные дни варила его мамаша. Пантелей сидел в стороне и жевал хлеб.

– Дед, а ты чего не ешь? – спросил его Емельян.

– Не ем я раков... Ну их! – сказал старик и брезгливо отвернулся.

Пока ели, шел общий разговор. Из этого разговора Егорушка понял, что у всех его новых знакомых, несмотря на разницу лет и характеров, было одно общее, делавшее их похожими друг на друга: все они были люди с прекрасным прошлым и с очень нехорошим настоящим; о своем прошлом они, все до одного, говорили с восторгом, к настоящему же относились почти с презрением. Русский человек любит вспоминать, но не любит жить; Егорушка еще не знал этого, и, прежде чем каша была съедена, он уж глубоко верил, что вокруг котла сидят люди, оскорбленные и обиженные судьбой. Пантелей рассказывал, что в былое время, когда еще не было железных дорог, он ходил с обозами в Москву и в Нижний, зарабатывал так много, что некуда было девать денег. А какие в то время были купцы, какая рыба, как все было дешево! Теперь же дороги стали короче, купцы скуперее, народ беднее, хлеб дороже, все измельчало и сузилось до крайности. Емельян говорил, что прежде он служил в Луганском заводе в певчих, имел замечательный голос и отлично читал ноты, теперь же он обратился в мужика и кормится милостями брата, который посылает его со своими лошадьми и берет себе за это половину заработка. Вася когда-то служил на спичечной фабрике; Кирюха жил в кучерах у хороших людей и на весь округ считался лучшим троечником. Дымов, сын зажиточного мужика, жил в свое удовольствие, гулял и не знал горя, но едва ему минуло двадцать лет, как строгий, крутой отец, желая приучить его к делу и боясь, чтобы он дома не избаловался, стал посылать его в извоз, как бобыля-работника. Один Степка молчал, но и по его безусому лицу видно было, что прежде жилось ему гораздо лучше, чем теперь.

Вспомнив об отце, Дымов перестал есть и нахмурился. Он исподлобья оглядел товарищей и остановил свой взгляд на Егорушке.

– Ты, нехристь, сними шапку! – сказал он грубо. – Нешто можно в шапке есть? А еще тоже барин!

Егорушка снял шляпу и не сказал ни слова, но уж не понимал вкуса каши и не слышал, как вступились за него Пантелей и Вася. В его груди тяжело заворочалась злоба против озорника, и он порешил во что бы то ни стало сделать ему какое-нибудь зло.

После обеда все поплелись к возам и повалились в тень.

– Дед, скоро мы поедем? – спросил Егорушка у Пантелея.

– Когда бог даст, тогда и поедем... Сейчас не поедешь, жарко... Ох, господи твоя воля, владычица... Ложись, парнишка!

Скоро из-под возов слышался храп. Егорушка хотел было опять пойти в деревню, но подумал, позевал и лег рядом со стариком.

## VI

Обоз весь день простоял у реки и тронулся с места, когда садилось солнце.

Опять Егорушка лежал на тюке, воз тихо скрипел и покачивался, внизу шел Пантелей, притопывал ногами, хлопал себя по бедрам и бормотал; в воздухе по-вчерашнему стрекотала степная музыка.

Егорушка лежал на спине и, заложив руки под голову, глядел вверх на небо. Он видел, как зажглась вечерняя заря, как потом она угасала; ангелы-хранители, застилая горизонт своими золотыми крыльями, располагались на ночлег; день прошел благополучно, наступила тихая, благополучная ночь, и они могли спокойно сидеть у себя дома на небе... Видел Егорушка, как мало-помалу темнело небо и опускалась на землю мгла, как засветились одна за другой звезды.

Когда долго, не отрывая глаз, смотришь на глубокое небо, то почему-то мысли и душа сливаются в сознание одиночества. Начинаешь чувствовать себя непоправимо одиноким, и все то, что считал раньше близким и родным, становится бесконечно далеким и не имеющим цены. Звезды, глядящие с неба уже тысячи лет, само непонятное небо и мгла, равнодушные к короткой жизни человека, когда остаешься с ними с глазу на глаз и стараешься постигнуть их смысл, гнетут душу своим молчанием; приходит на мысль то одиночество, которое ждет каждого из нас в могиле, и сущность жизни представляется отчаянной, ужасной...

Егорушка думал о бабушке, которая спит теперь на кладбище под вишневыми деревьями; он вспомнил, как она лежала в гробу с медными пятаками на глазах, как потом ее прикрыли крышкой и опустили в могилу; припомнился ему и глухой стук комков земли о крышку... Он представил себе бабушку в тесном и темном гробу, всеми оставленную и беспомощную. Его воображение рисовало, как бабушка вдруг просыпается и, не понимая, где она, стучит в крышку, зовет на помощь и в конце концов, изнемогши от ужаса, опять умирает. Вообразил он мертвыми мамашу, о. Христофора, графиню Драницкую, Соломона. Но как он ни старался вообразить себя самого в темной могиле, вдали от дома, брошенным, беспомощным и мертвым, это не удавалось ему; лично для себя он не допускал возможности умереть и чувствовал, что никогда не умрет...

А Пантелей, которому пора уже было умирать, шел внизу и делал переключку своим мыслям.

– Ничего... хорошие господа... – бормотал он. – Повезли парнишку в ученье, а как он там, не слышать про то... В Славяносербском, говорю, нету такого заведения, чтоб до большого ума доводить... Нету, это верно... А парнишка хороший, ничего... Вырастет, отцу будет помогать. Ты, Егорий, теперь махонький, а станешь большой, отца-мать кормить будешь. Так от бога положено... Чти отца твоего и мать твою... У меня у самого были детки, да погорели... И жена сгорела и детки... Это верно, под Крещение ночью загорелась изба... Меня-то дома не было, я в Орел ездил. В Орел... Марья-то выскочила на улицу, да вспомнила, что дети в избе спят, побежала назад и сгорела с детками... Да... На другой день одни только косточки нашли.

Около полуночи подводчики и Егорушка опять сидели вокруг небольшого костра. Пока разгорался бурьян, Кирюха и Вася ходили за водой куда-то в балочку; они исчезли в потемках, но все время слышно было, как они звякали ведрами и разговаривали; значит, балочка была недалеко. Свет от костра лежал на земле большим мигающим пятном; хотя и светила луна, но за красным пятном все казалось непроницаемо черным. Подводчикам свет бил в глаза, и они видели только часть большой дороги; в темноте едва заметно в виде гор неопределенной формы обозначились возы с тюками и лошади. В двадцати шагах от костра, на границе дороги с полем стоял деревянный могильный крест, покосившийся в сторону. Егорушка, когда еще не горел костер и можно было видеть далеко, заметил, что точно такой же старый покосившийся крест стоял на другой стороне большой дороги.

Вернувшись с водой, Кирюха и Вася налили полный котел и укрепили его на огне. Степка с зазубренной ложкой в руках занял свое место в дыму около котла и, задумчиво глядя на воду, стал дожидаться, пока покажется пена. Пантелей и Емельян сидели рядом, молчали и о чем-то думали. Дымов лежал на животе, подперев кулаками голову, и глядел на огонь; тень от Степки прыгала по нем, отчего красивое лицо его то покрывалось потемками, то вдруг вспыхивало... Кирюха и Вася бродили поодаль и собирали для костра бурьян и берест. Егорушка, заложив руки в карманы, стоял около Пантелея и смотрел, как огонь ел траву.

Все отдыхали, о чем-то думали, мельком поглядывали на крест, по которому прыгали красные пятна. В одинокой могиле есть что-то грустное, мечтательное и в высокой степени поэтическое... Слышно, как она молчит, и в этом молчании чувствуется присутствие души неизвестного человека, лежащего под крестом. Хорошо ли этой душе в степи? Не тоскует ли она в лунную ночь? А степь возле могилы кажется грустной, унылой и задумчивой, трава печальней, и кажется, что кузнецы кричат сдержанней... И нет того прохожего, который не помянул бы одинокой души и не оглядывался бы на могилу до тех пор, пока она не останется далеко позади и не покроется мглою...

– Дед, зачем это крест стоит? – спросил Егорушка.

Пантелей поглядел на крест, потом на Дымова и спросил:

– Микола, это, бывает, не то место, где косари купцов убили?

Дымов нехотя приподнялся на локте, посмотрел на дорогу и ответил:

– Оно самое...

Наступило молчание. Кирюха затрещал сухой травой, смял ее в ком и сунул под котел. Огонь ярче вспыхнул; Степку обдало черным дымом, и в потемках по дороге около возов пробежала тень от креста.

– Да, убили... – сказал нехотя Дымов. – Купцы, отец с сыном, ехали образа продавать. Остановились тут недалеко в постоялом дворе, что теперь Игнат Фомин держит. Старик выпил лишнее и стал хвалиться, что у него с собой денег много. Купцы, известно, народ хвастливый, не дай бог... Не утерпит, чтоб не показать себя перед нашим братом в лучшем виде. А в ту пору на постоялом дворе косари ночевали. Ну, услышали это они, как купец хвастает, и взяли себе во внимание.

– О господи... владычица! – вздохнул Пантелей.

– На другой день, чуть свет, – продолжал Дымов, – купцы собрались в дорогу, а косари с ними ввязались. «Пойдем, ваше степенство, вместе. Веселей, да и опаски меньше, потому здесь место глухое...» Купцы, чтоб образов не побить, шагом ехали, а косарям это на руку...

Дымов стал на колени и потянулся.

– Да, – продолжал он, зевая. – Все ничего было, а как только купцы доехали до этого места, косари и давай чистить их косами. Сын, молодец был, выхватил у одного косу и тоже давай чистить... Ну, конечно, те одолели, потому их человек восемь было. Изрезали купцов так, что живого места на теле не осталось; кончили свое дело и стащили с дороги обоих, отца на одну сторону, а сына на другую. Супротив этого креста на той стороне еще другой крест есть... Цел ли – не знаю... Отсюда не видать.

– Цел, – сказал Кирюха.

– Сказывают, денег потом нашли мало.

– Мало, – подтвердил Пантелей. – Рублей сто нашли.

– Да, а трое из них потом померли, потому купец их тоже больно косой порезал... Кровью сошли. Одному купец руку отхватил, так тот, сказывают, версты четыре без руки бежал и под самым Куриковым его на бугорочке нашли. Сидит на корточках, голову на колени положил, словно задумавшись, а поглядели – в нем души нет, помер...

– По кровяному следу его нашли... – сказал Пантелей.

Все посмотрели на крест, и опять наступила тишина. Откуда-то, вероятно из балочки, донесся грустный крик птицы: «Сплю! сплю! сплю!..»

– Злых людей много на свете, – сказал Емельяи.

– Много, много! – подтвердил Пантелей и придвинулся поближе к огню с таким выражением, как будто ему становилось жутко. – Много, – продолжал он вполголоса. – Перевидал я их на своем веку видимо-невидимо... Злых-то людей... Святых и праведных видел много, а грешных и не перечесать... Спаси и помилуй, царица небесная... Помню, раз, годов тридцать назад, а может и больше, вез я купца из Моршанска. Купец был славный, видный из себя и при деньгах... купец-то... Хороший человек, ничего... Вот, стало быть, ехали мы и остановились ночевать в постоялом дворе. А в России постоялые дворы не то что в здешнем краю. Там дворы крытые на манер базов или, скажем, как клуни в хороших экономиях. Только клуни повыше будут. Ну, остановились мы, и ничего себе. Купец мой в комнатке, я при лошадях, и все как следует быть. Так вот, братцы, помолился я богу, чтоб, значит, спать, и пошел походить по двору. А ночь была темная, зги не видать, хоть не гляди вовсе. Прошелся я этак немножко, вот как до возов примерно, и вижу – огонь брезжится. Что за притча? Кажись, и хозяева давно спать положились, и, акромя меня с купцом, других постояльцев не было... Откуда огню быть? Взяло меня сомнение... Подошел я поближе... к огню-то... Господи, помилуй и спаси, царица небесная! Смотрю, а у самой земли окошечко с решеткой... в доме-то... Лег я на землю и поглядел; как поглядел, так по всему моему телу и пошел мороз...

Кирюха, стараясь не шуметь, сунул в костер пук бурьяна. Дождавшись, когда бурьян перестал трещать и шипеть, старик продолжал:

– Поглядел я туда, а там подвал, большой такой, темный да сумный... На бочке фонарик горит. Посреди подвала стоят человек десять народу в красных рубахах, засучили рукава и длинные ножики точат... Эге! Ну, значит, мы в шайку попали, к разбойникам. Что тут делать? Побег я к купцу, разбудил его потихоньку и говорю: «Ты, говорю, купец, не пужайся, а дело наше плохо... Мы, говорю, в разбойничье гнездо попали». Он сменился с лица и спрашивает: «Что ж мы теперь, Пантелей, делать станем? При мне денег сиротских много... Насчет души, говорит, моей волен господь бог, не боюсь помереть, а, говорит, страшно сиротские деньги загубить...» Что тут прикажешь делать? Ворота запертые, некуда ни выехать, ни выйти... Будь забор, через забор перелезть можно, а то двор крытый!.. «Ну, говорю, купец, ты не пужайся, а молись богу. Может, господь не захочет сирот обижать. Оставайся, говорю, и виду не подавай, а я тем временем, может, и придумаю что...» Ладно... Помолился я богу, и наставил меня бог на ум... Влез я на свой тарантас и тихонько... тихонько, чтоб никто не слышал, стал обдирать солому в стрехе, проделал дырку и вылез наружу. Наружу-то... Потом прыгнул я с крыши и побег по дороге что есть духу. Бежал я, бежал, замучился до смерти... Может, верст пять пробежал одним духом, а то и больше. Благодарить бога, вижу – стоит деревня. Подбежал я к избе, стал стучать в окно. «Православные, говорю, так и так, мол, не дайте христианскую душу загубить...» Побудил всех... Собрались мужики и пошли со мной... Кто с веревкой, кто с дубьем, кто с вилами... Сломали мы это в постоялом дворе ворота и сейчас в подвал... А разбойники ножики-то уж поточили и собрались купца резать. Забрали их мужики всех как есть, перевязали и повели к начальству. Купец им на радостях три сотенных пожертвовал, а мне пять лобанчиков дал и имя мое в поминанье к себе записал. Сказывают, потом в подвале костей человеческих нашли видимо-невидимо. Костей-то... Они, значит, грабили народ, а потом зарывали, чтоб следов не было. Ну, потом их в Моршанске через палачей наказывали.

Пантелей кончил рассказ и оглядел своих слушателей. Те молчали и смотрели на него. Вода уже кипела, и Степка снимал пену.

– Сало-то готово? – спросил его шепотом Кирюха.

– Погоди маленько... Сейчас.

Степка, не отрывая глаз от Пантелея и как бы боясь, чтобы тот не начал без него рассказывать, побежал к возам; скоро он вернулся с небольшой деревянной чашкой и стал растирать в ней свиное сало.

– Ехал я в другой раз тоже с купцом... – продолжал Пантелей по-прежнему вполголоса и не мигая глазами. – Звали его, как теперь помню, Петр Григорьич. Хороший был человек... купец-то... Остановились мы таким же манером на постоялом дворе... Он в комнатке, я при лошадах... Хозяева, муж и жена, народ как будто хороший, ласковый, работники тоже словно бы ничего, а только, братцы, не могу спать, чует мое сердце! Чует, да и шабаш. И ворота отпертые, и народу кругом много, а все как будто страшно, не по себе. Все давно позаснули, уж совсем ночь, скоро вставать надо, а я один только лежу у себя в кибитке и глаз не смыкаю, словно сыч какой. Только, братцы, это самое, слышу: туп! туп! туп! Кто-то к кибитке крадется. Высовываю голову, гляжу – стоит баба в одной рубахе, босая... «Что тебе, говорю, бабочка?» А она вся трясется, это самое, лица на ей нет... «Вставай, говорит, добрый человек! Беда... Хозяева лихо задумали... Хотят твоего купца порешить. Сама, говорит, слыхала, как хозяин с хозяйкой шептались...» Ну, недаром сердце болело! «Кто же ты сама?» – спрашиваю. «А я, говорит, ихняя стряпуха...» Ладно... Вылез я из кибитки и пошел к купцу. Разбудил его и говорю: «Так и так, говорю, Петр Григорьич, дело не совсем чисто... Успеешь, ваше степенство, выспаться, а теперь, пока есть время, одевайся, говорю, да подобру-здорову подальше от греха...» Только что он стал одеваться, как дверь отворилась, и здравствуйте... гляжу – мать-царица! – входят к нам в комнатку хозяин с хозяйкой и три работника... Значит, и работников подговорили... Денег у купца много, так вот, мол, поделим... У всех у пятерых в руках по ножичку длинному... По ножичку-то... Запер хозяин на замок двери и говорит: «Молитесь, проезжие, богу... А ежели, говорит, кричать станете, то и помолиться не дадим перед смертью...» Где уж тут кричать! У нас от страху и глотку завалило, не до крику тут... Купец заплакал и говорит: «Православные! Вы, говорит, порешили меня убить, потому на мои деньги польстились. Так тому и быть, не я первый, не я последний; много уже нашего брата купца на постоянных дворах перерезано. Но за что же, говорит, братцы православные, моего извозчика убивать? Какая ему надобность за мои деньги муки принимать?» И так это жалостно говорит! А хозяин ему: «Ежели, говорит, мы его в живых оставим, так он первый на нас доказчик. Все равно, говорит, что одного убить, что двух. Семь бед, один ответ... Молитесь богу, вот и все тут, а разговаривать нечего!» Стали мы с купцом рядышком на коленки, заплакали и давай бога молить. Он деток своих вспоминает, я в ту пору еще молодой был, жить хотел... Глядим на образа, молимся, да так жалостно, что и теперь слеза бьет... А хозяйка, баба-то, глядит на нас и говорит: «Вы же, говорит, добрые люди, не поминайте нас на том свете лихом и не молитесь бога на нашу голову, потому мы это от нужды». Молились мы, молились, плакали, плакали, а бог-то нас и услышал. Сжалился, значит... В самый раз, когда хозяин купца за бороду взял, чтоб, значит, ножиком его по шее полоснуть, вдруг кто-то ка-ак стукнет со двора по окошку! Все мы так и присели, а у хозяина руки опустились... Постучал кто-то по окошку да как закричит: «Петр Григорьич, – кричит, – ты здесь? Собирайся, поедем!» Видят хозяева, что за купцом приехали, испугались и давай бог ноги... А мы скорей на двор, запрягли и – только нас и видели...

– Кто же это в окошко стучал? – спросил Дымов.

– В окошко-то? Должно, угодник божий или ангел. Потому акромья некому... Когда мы выехали со двора, на улице ни одного человека не было... Божье дело!

Пантелей рассказал еще кое-что, и во всех его рассказах одинаково играли роль «длинные ножички» и одинаково чувствовался вымысел. Слышал ли он эти рассказы от кого-нибудь другого, или сам сочинил их в далеком прошлом и потом, когда память ослабела, перемешал пережитое с вымыслом и перестал уметь отличать одно от другого? Все может быть, но странно одно, что теперь и во всю дорогу он, когда приходилось рассказывать, отдавал явное предпочтение вымыслам и никогда не говорил о том, что было пережито. Теперь Егорушка все при-

нимал за чистую монету и верил каждому слову, впоследствии же ему казалось странным, что человек, изъездивший на своем веку всю Россию, видевший и знавший многое, человек, у которого сгорели жена и дети, обесценивал свою богатую жизнь до того, что всякий раз, сидя у костра, или молчал, или же говорил о том, чего не было.

За кашей все молчали и думали о только что слышанном. Жизнь страшна и чудесна, а потому какой страшный рассказ ни расскажи на Руси, как ни украшай его разбойничьими гнездами, длинными ножиками и чудесами, он всегда отзовется в душе слушателя былью, и разве только человек, сильно искусившийся на грамоте, недоверчиво покосится, да и то смолчит. Крест у дороги, темные тюки, простор и судьба людей, собравшихся у костра, – все это само по себе было так чудесно и страшно, что фантастичность небылицы или сказки бледнела и сливалась с жизнью.

Все ели из котла, Пантелей же сидел в стороне особняком и ел кашу из деревянной чашечки. Ложка у него была не такая, как у всех, а кипарисовая и с крестиком. Егорушка, глядя на него, вспомнил о лампадном стаканчике и спросил тихо у Степки:

– Зачем это дед особо сидит?

– Он старой веры, – ответили шепотом Степка и Вася, и при этом они так глядели, как будто говорили о слабости или тайном пороке.

Все молчали и думали. После страшных рассказов не хотелось уж говорить о том, что обыкновенно. Вдруг среди тишины Вася выпрямился и, устремив свои тусклые глаза в одну точку, навострил уши.

– Что такое? – спросил его Дымов.

– Человек какой-то идет, – ответил Вася.

– Где ты его видишь?

– Во-он он! Чуть-чуть белеется...

Там, куда смотрел Вася, не было видно ничего, кроме потемок; все прислушались, но шагов не было слышно.

– По шляху он идет? – спросил Дымов.

– Не, полем... Сюда идет.

Прошла минута в молчании.

– А может, это по степи гуляет купец, что тут похоронен, – сказал Дымов.

Все покосились на крест, переглянулись и вдруг засмеялись; стало стыдно за свой страх.

– Зачем ему гулять? – сказал Пантелей. – Это только те по ночам ходят, кого земля не принимает. А купцы ничего... Купцы мученический венец приняли.

Но вот послышались шаги. Кто-то торопливо шел.

– Что-то несет, – сказал Вася.

Стало слышно, как под ногами шедшего шуршала трава и потрескивал бурьян, но за светом костра никого не было видно. Наконец раздались шаги вблизи, кто-то кашлянул; мигавший свет точно расступился, с глаз спала завеса, и подводчики вдруг увидели перед собой человека.

Огонь ли так мелькнул, или оттого, что всем хотелось разглядеть прежде всего лицо этого человека, но только странно так вышло, что все при первом взгляде на него увидели прежде всего не лицо, не одежду, а улыбку. Это была улыбка необыкновенно добрая, широкая и мягкая, как у разбуженного ребенка, одна из тех заразительных улыбок, на которые трудно не ответить тоже улыбкой. Незнакомец, когда его разглядели, оказался человеком лет тридцати, некрасивым собой и ничем не замечательным. Это был высокий хохол, длинноносый, длиннорукий и длинноногий; вообще все у него казалось длинным, и только одна шея была так коротка, что делала его сутуловатым. Одет он был в чистую белую рубаху с шитым воротом, в белые шаровары и новые сапоги и в сравнении с подводчиками казался щеголем. В руках он держал что-то большое, белое и на первый взгляд странное, а из-за его плеча выглядывало дуло ружья, тоже длинное.

Попад в потемок в световой круг, он остановился как вкопанный и с полминуты глядел на подводчиков так, как будто хотел сказать: «Поглядите, какая у меня улыбка!» Потом он шагнул к костру, улыбнулся еще светлее и сказал:

– Хлеб да соль, братцы!

– Милости просим! – отвечал за всех Пантелей.

Незнакомец положил около костра то, что держал в руках – это была убитая дрохва, – и еще раз поздоровался.

Все подошли к дрохве и стали осматривать ее.

– Важная птица! Чем это ты ее? – спросил Дымов.

– Картечью... Дробью не достанешь, не подпустит... Купите, братцы! Я б вам за двугривенный отдал.

– А на что она нам? Она жареная годится, а вареная небось жесткая – не укусишь...

– Эх, досада! Ее бы к господам в экономию снести, те бы полтинник дали, да далече – пятнадцать верст!

Неизвестный сел, снял ружье и положил его возле себя. Он казался сонным, томным, улыбался, шурился от огня и, по-видимому, думал о чем-то очень приятном. Ему дали ложку. Он стал есть.

– Ты кто сам? – спросил его Дымов.

Незнакомец не слышал вопроса; он не ответил и даже не взглянул на Дымова. Вероятно, этот улыбающийся человек не чувствовал и вкуса каши, потому что жевал как-то машинально, лениво, поднося ко рту ложку то очень полную, то совсем пустую. Пьян он не был, но в голове его бродило что-то шальное.

– Я тебя спрашиваю: ты кто? – повторил Дымов.

– Я-то? – встрепенулся неизвестный. – Константин Звоник, из Ровного. Отсюда версты четыре.

И, желая на первых же порах показать, что он не такой мужик, как все, а получше, Константин поспешил добавить:

– Мы пасеку держим и свиней кормим.

– При отце живешь али сам?

– Нет, теперь сам живу. Отделился. В этом месяце после Петрова дня оженился. Женатый теперь!.. Нынче восемнадцатый день, как обзаконился.

– Хорошее дело! – сказал Пантелей. – Жена ничего... Это бог благословил...

– Молодая баба дома спит, а он по степу шатается, – засмеялся Кирюха. – Чудак!

Константин, точно его ущипнули за самое живое место, встрепенулся, засмеялся, вспыхнул...

– Да господи, нету ее дома! – сказал он, быстро вынимая изо рта ложку и оглядывая всех радостно и удивленно. – Нету! Поехала к матери на два дня! Ей-богу, она поехала, а я как неженатый...

Константин махнул рукой и покрутил головою; он хотел продолжать думать, но радость, которою светилось лицо его, мешала ему. Он, точно ему неудобно было сидеть, принял другую позу, засмеялся и опять махнул рукой. Совестно было выдавать чужим людям свои приятные мысли, но в то же время неудержимо хотелось поделиться радостью.

– Поехала в Демидово к матери! – сказал он, краснея и перекладывая на другое место ружье. – Завтра вернется... Сказала, что к обеду назад будет.

– А тебе скучно? – спросил Дымов.

– Да господи, а то как же? Без году неделя, как оженился, а она уехала... А? У, да бедо-вая, накажи меня бог! Там такая хорошая да славная, такая хохотунья да певунья, что просто чистый порох! При ней голова ходором ходит, а без нее вот словно потерял что, как дурак по степу хожу. С самого обеда хожу, хоть караул кричи.

Константин протер глаза, посмотрел на огонь и засмеялся.

– Любишь, значит... – сказал Пантелей.

– Там такая хорошая да славная, – повторил Константин, не слушая, – такая хозяйка, умная да разумная, что другой такой из простого звания во всей губернии не сыскать. Уехала... А ведь скучает, я зна-аю! Знаю, сороку! Сказала, что завтра к обеду вернется... А ведь какая история! – почти крикнул Константин, вдруг беря тоном выше и меняя позу. – Теперь любит и скучает, а ведь не хотела за меня выходить!

– Да ты ешь! – сказал Кирюха.

– Не хотела за меня выходить! – продолжал Константин, не слушая. – Три года с ней бился! Увидал я ее на ярмарке в Калачике, полюбил до смерти, хоть на шибеницу полезай... Я в Ровном, она в Демидовом, друг от дружки за двадцать пять верст, и нет никакой моей возможности. Засылаю к ней сватов, а она: не х́чу! Ах ты, сорока! Уж я ее и так, и этак, и сережки, и пряников, и меду полпуда – не х́чу! Вот тут и поди. Оно, ежели рассудить, то какая я ей пара? Она молодая, красивая, с порохом, а я старый, скоро тридцать годов будет, да и красив очень, борода окладистая – гвоздем, лицо чистое – все в шишках. Где ж мне с ней равняться! Разве вот только, что богато живем, да ведь и они, Вахраменки, хорошо живут. Три пары волов и двух работников держат. Полюбил, братцы, и очумел... Не сплю, не ем, в голове мысли и такой дурман, что не приведи господи! Хочется ее повидать, а она в Демидове... И что же вы думаете? Накажи меня бог, не брешу, раза три на неделе туда пешком ходил, чтоб на нее поглядеть. Дело бросил! Такое затмение нашло, что даже в работники в Демидове хотел наниматься, чтоб, значит, к ней поближе. Замучился! Мать знахарку звала, отец раз десять бить принимался. Ну, три года промаялся и уж так порешил: будь ты трижды анафема, пойду в город и в извозчики... Значит, не судьба! На Святой пошел я в Демидово в последний разочек на нее поглядеть...

Константин откинул назад голову и закатился таким мелким, веселым смехом, как будто только что очень хитро надул кого-то.

– Гляжу, она с парубками около речки, – продолжал он. – Взяло меня зло... Отозвал я ее в сторонку и, может, с целый час ей разные слова... Полюбила! Три года не любила, а за слова полюбила!

– А какие слова? – спросил Дымов.

– Слова? И не помню... Нешто вспомнишь? Тогда, как вода из желоба, без передышки: та-та-та-та! А теперь ни одного слова не выговорю... Ну, и пошла за меня... Поехала теперь, сорока, к матери, а я вот без нее по степу. Не могу дома сидеть. Нет моей мочи!

Константин неуклюже высвободил из-под себя ноги, растянулся на земле и подпер голову кулаками, потом поднялся и опять сел. Все теперь отлично понимали, что это был влюбленный и счастливый человек, счастливый до тоски; его улыбка, глаза и каждое движение выражали томительное счастье. Он не находил себе места и не знал, какую принять позу и что делать, чтобы не изнемогать от избытка приятных мыслей. Излив перед чужими людьми свою душу, он наконец уселся покойно и, глядя на огонь, задумался.

При виде счастливого человека всем стало скучно и захотелось тоже счастья. Все задумались. Дымов поднялся, тихо прошелся около костра, и по походке, по движению его лопаток видно было, что он томился и скучал. Он постоял, поглядел на Константина и сел.

А костер уже потухал. Свет уже не мелькал, а красное пятно сузилось, потускнело... И чем скорее догорал огонь, тем виднее становилась лунная ночь. Теперь уж видно было дорогу во всю ее ширь, тюки, оглобли, жевавших лошадей; на той стороне ясно вырисовывался другой крест...

Дымов подпер щеку рукой и тихо запел какую-то жалостную песню. Константин сонно улыбнулся и подтянул ему тонким голоском. Попели они с полминуты и затихли... Емельян встрепенулся, задвигал локтями и зашевелил пальцами.

– Братцы! – сказал он умоляюще. – Давайте споем что-нибудь божественное!

Слезы выступили у него на глазах.

– Братцы! – повторил он, прижимая руку к сердцу. – Давайте споем что-нибудь божественное!

– Я не умею, – сказал Константин.

Все отказались; тогда Емельян запел сам. Он замахал обеими руками, закивал головой, открыл рот, но из горла его вырвалось одно только сиплое, беззвучное дыхание. Он пел руками, головой, глазами и даже шишкой, пел страстно и с болью, и чем сильнее напрягал грудь, чтобы вырвать у нее хоть одну ноту, тем беззвучнее становилось его дыхание...

Егорушкой тоже, как и всеми, овладела скука. Он пошел к своему возу, взобрался на тюк и лег. Глядел он на небо и думал о счастливом Константине и его жене. Зачем люди женятся? К чему на этом свете женщины? Егорушка задавал себе неясные вопросы и думал, что мужчине, наверное, хорошо, если возле него постоянно живет ласковая, веселая и красивая женщина. Пришла ему почему-то на память графиня Драницкая, и он подумал, что с такой женщиной, вероятно, очень приятно жить; он, пожалуй, с удовольствием женился бы на ней, если бы это не было так совестно. Он вспомнил ее брови, зрачки, коляску, часы со всадником... Тихая, теплая ночь спускалась на него и шептала ему что-то на ухо, а ему казалось, что это та красивая женщина склоняется к нему, с улыбкой глядит на него и хочет поцеловать...

От костра осталось только два маленьких красных глаза, становившихся все меньше и меньше. Подводчики и Константин сидели около них, темные, неподвижные, и казалось, что их теперь было гораздо больше, чем раньше. Оба креста одинаково были видны, и далеко-далеко, где-то на большой дороге, светился красный огонек – тоже, вероятно, кто-нибудь варил кашу.

– «Наша матушка Расия всему свету га-ла-ва!» – запел вдруг диким голосом Кирюха, поперхнулся и умолк. Степное эхо подхватило его голос, понесло, и казалось, по степи на тяжелых колесах покатила сама глупость.

– Время ехать! – сказал Пантелей. – Вставай, ребята.

Пока запрягали, Константин ходил около подвод и восхищался своей женой.

– Прощайте, братцы! – крикнул он, когда обоз тронулся. – Спасибо вам за хлеб, за соль! А я опять пойду на огонь. Нет моей мочи!

И он скоро исчез во мгле, и долго было слышно, как он шагал туда, где светился огонек, чтобы поведать чужим людям о своем счастье.

Когда на другой день проснулся Егорушка, было раннее утро; солнце еще не всходило. Обоз стоял. Какой-то человек в белой фуражке и в костюме из дешевой серой материи, сидя на казачьем жеребчике, у самого переднего воза разговаривал о чем-то с Дымовым и Кирюхой. Впереди, версты за две от обоза, белели длинные невысокие амбары и домики с черепичными крышами; около домиков не было видно ни дворов, ни деревьев.

– Дед, какая это деревня? – спросил Егорушка.

– Это, молодчик, армянские хутора, – отвечал Пантелей. – Тут армяшки живут. Народ ничего... армяшки-то.

Человек в сером кончил разговаривать с Дымовым и Кирюхой, осадил своего жеребчика и поглядел на хутора.

– Экие дела, подумаешь! – вздохнул Пантелей, тоже глядя на хутора и пожимаясь от утренней свежести. – Послал он человека на хутор за какой-то бумагой, а тот не едет... Степку послать бы!

– Дед, а кто это? – спросил Егорушка.

– Варламов.

Боже мой! Егорушка быстро вскочил, стал на колени и поглядел на белую фуражку. В малорослом сером человечке, обутом в большие сапоги, сидящем на некрасивой лошаденке и разговаривающем с мужиками в такое время, когда все порядочные люди спят, трудно было

узнать таинственного, неуловимого Варламова, которого все ищут, который всегда «кружится» и имеет денег гораздо больше, чем графиня Драницкая.

– Ничего, хороший человек... – говорил Пантелей, глядя на хутора. – Дай бог здоровья, славный господин... Варламов-то, Семен Александрыч... На таких людях, брат, земля держится. Это верно... Петухи еще не поют, а он уж на ногах... Другой бы спал или дома с гостями тары-бары-растбары, а он целый день по степу... Кружится... Этот уж не упустит дела... Нет! Это молодчина...

Варламов не отрывал глаз от хутора и о чем-то говорил; жеребчик нетерпеливо переминался с ноги на ногу.

– Семен Александрыч, – крикнул Пантелей, снимая шляпу, – дозвоьте Степку послать! Емельян, крикни, чтоб Степку послать!

Но вот наконец от хутора отделился верховой. Сильно накренившись набок и помахивая выше головы нагайкой, точно джигитуя и желая удивить всех своей смелой ездой, он с быстротою птицы полетел к обозу.

– Это, должно, его объездчик, – сказал Пантелей. – У него их, объездчиков-то, человек, может, сто, а то и больше.

Поравнявшись с передним возом, верховой осадил лошадь и, снявши шапку, подал Варламову какую-то книжку. Варламов вынул из книжки несколько бумажек, прочел их и крикнул:

– А где же записка Иванчука?

Верховой взял назад книжку, оглядел бумажки и пожал плечами; он стал говорить о чем-то, вероятно, оправдываясь и просил позволения съездить еще раз на хутора. Жеребчик вдруг задвигался так, как будто Варламов стал тяжелее. Варламов тоже задвигался.

– Пошел вон! – крикнул он сердито и замахнулся на верхового нагайкой.

Потом он повернул лошадь назад и, рассматривая в книжке бумаги, поехал шагом вдоль обоза. Когда он подъезжал к заднему возу, Егорушка напряг свое зрение, чтобы получше рассмотреть его. Варламов был уже стар. Лицо его с небольшой седой бородкой, простое, русское, загорелое лицо, было красно, мокро от росы и покрыто синими жилочками; оно выражало такую же деловую сухость, как лицо Ивана Иваныча, тот же деловой фанатизм. Но все-таки какая разница чувствовалась между ним и Иваном Иванычем! У дяди Кузьмичова рядом с деловую сухостью всегда были на лице забота и страх, что он не найдет Варламова, опоздает, пропустит хорошую цену; ничего подобного, свойственного людям маленьким и зависимым, не было заметно ни на лице, ни в фигуре Варламова. Этот человек сам создавал цены, никого не искал и ни от кого не зависел; как ни заурядна была его наружность, но во всем, даже в манере держать нагайку, чувствовалось сознание силы и привычной власти над степью.

Проезжая мимо Егорушки, он не взглянул на него; один только жеребчик удостоил Егорушку своим вниманием и поглядел на него большими, глупыми глазами, да и то равнодушно. Пантелей поклонился Варламову; тот заметил это и, не отрывая глаз от бумажек, сказал картавя:

– Здгаствуй, стагик!

Беседа Варламова с верховым и взмах нагайкой, по-видимому, произвели на весь обоз удручающее впечатление. У всех были серьезные лица. Верховой, обескураженный гневом сильного человека, без шапки, опустив поводья, стоял у переднего воза, молчал и как будто не верил, что для него так худо начался день.

– Крутой старик... – бормотал Пантелей. – Беда, какой крутой! А ничего, хороший человек... Не обидит задаром... Ничего...

Осмотрев бумаги, Варламов сунул книжку в карман; жеребчик, точно поняв его мысли, не дожидаясь приказа, вздрогнул и понесся по большой дороге.

## VII

И в следующую за тем ночь подводчики делали привал и варили кашу. На этот раз с самого начала во всем чувствовалась какая-то неопределенная тоска. Было душно; все много пили и никак не могли утолить жажду. Луна взошла сильно багровая и хмурая, точно больная; звезды тоже хмурились, мгла была гуще, даль мутнее. Природа как будто что-то предчувствовала и томила.

У костра уж не было вчерашнего оживления и разговоров. Все скучали и говорили вяло и нехотя. Пантелей только вздыхал, жаловался на ноги и то и дело заводил речь о наглой смерти.

Дымов лежал на животе, молчал и жевал соломинку; выражение лица у него было брезгливое, точно от соломинки дурно пахло, злое и утомленное... Вася жаловался, что у него ломит челюсть, и пророчил непогоду; Емельян не махал руками, а сидел неподвижно и угрюмо глядел на огонь. Томился и Егорушка. Езда шагом утомила его, а от дневного зноя у него болела голова.

Когда сварилась каша, Дымов от скуки стал придирается к товарищам.

– Расселся, шишка, и первый лезет с ложкой! – сказал он, глядя со злобой на Емельяна. – Жадность. Так и норовит первый за котел сесть. Певчим был, так уж он думает – барин! Много вас таких певчих по большому шляху милостыню просит!

– Да ты что пристал? – спросил Емельян, глядя на него тоже со злобой.

– А то, что не суйся первый к котлу. Не понимай о себе много!

– Дурак, вот и все, – просипел Емельян.

Зная по опыту, чем чаще всего оканчиваются подобные разговоры, Пантелей и Вася вмешались и стали убеждать Дымова не браниться попусту.

– Певчий... – не унимался озорник, презрительно усмехаясь. – Этак всякий может петь. Сиди себе в церкви на паперти, да и пой: «Подайте милостыньки Христа ради!» Эх, вы!

Емельян промолчал. На Дымова его молчание подействовало раздражающим образом. Он еще с большей ненавистью поглядел на бывшего певчего и сказал:

– Не хочется только связываться, а то б я б тебе показал, как об себе понимать!

– Да что ты ко мне пристал, мазепа? – вспыхнул Емельян. – Я тебя трогаю?

– Как ты меня обозвал? – спросил Дымов, выпрямляясь, и глаза его налились кровью. – Как? Я мазепа? Да? Так вот же тебе! Ступай ищи!

Дымов выхватил из рук Емельяна ложку и швырнул ее далеко в сторону. Кирюха, Вася и Степка вскочили и побежали искать ее, а Емельян умоляюще и вопросительно уставился на Пантелея. Лицо его вдруг стало маленьким, поморщилось, заморгало, и бывший певчий заплакал, как ребенок.

Егорушка, давно уже ненавидевший Дымова, почувствовал, как в воздухе вдруг стало невыносимо душно, как огонь от костра горячо жег лицо; ему захотелось скорее бежать к обозу в потемки, но злые, скучающие глаза озорника тянули его к себе. Страстно желая сказать что-нибудь в высшей степени обидное, он шагнул к Дымову и проговорил, задыхаясь:

– Ты хуже всех! Я тебя терпеть не могу!

После этого надо было бы бежать к обозу, а он никак не мог сдвинуться с места и продолжал:

– На том свете ты будешь гореть в аду! Я Ивану Иванычу пожалуюсь! Ты не смеешь обижать Емельяна!

– Тоже, скажи пожалуйста! – усмехнулся Дымов. – Свинонок всякий, еще на губах молоко не обсохло, в указчики лезет. А ежели за ухо?

Егорушка почувствовал, что дышать уже нечем; он – никогда с ним этого не было раньше – вдруг затрясся всем телом, затопал ногами и закричал пронзительно:

– Бейте его! Бейте его!

Слезы брызнули у него из глаз; ему стало стыдно, и он, пошатываясь, побежал к обозу. Какое впечатление произвел его крик, он не видел. Лежа на тюке и плача, он дергал руками и ногами и шептал:

– Мама! Мама!

И эти люди, и тени вокруг костра, и темные тюки, и далекая молния, каждую минуту сверкавшая вдали, – все теперь представлялось ему нелюдимым и страшным. Он ужасался и в отчаянии спрашивал себя, как это и зачем попал он в неизвестную землю, в компанию страшных мужиков? Где теперь дядя, о. Христофор и Дениска? Отчего они так долго не едут? Не забыли ли они о нем? От мысли, что он забыт и брошен на произвол судьбы, ему становилось холодно и так жутко, что он несколько раз порывался прыгнуть с тюка и опрометью, без оглядки побежать назад по дороге, но воспоминание о темных, угрюмых крестах, которые непременно встретятся ему на пути, и сверкавшая вдали молния останавливали его... И только когда он шептал: «Мама! мама!» – ему становилось как будто легче...

Должно быть, и подводчикам было жутко. После того как Егорушка убежал от костра, они сначала долго молчали, потом вполголоса и глухо заговорили о чем-то, что оно идет и что поскорее нужно собираться и уходить от него... Они скоро поужинали, потушили огонь и молча стали запрягать. По их суете и отрывистым фразам было заметно, что они предвидели какое-то несчастье.

Перед тем как трогаться в путь, Дымов подошел к Пантелею и спросил тихо:

– Как его звать?

– Егорий... – ответил Пантелей.

Дымов стал одной ногой на колесо, взялся за веревку, которой был перевязан тюк, и поднялся. Егорушка увидел его лицо и кудрявую голову. Лицо было бледно, утомлено и серьезно, но уже не выражало злобы.

– Ера! – сказал он тихо. – На, бей!

Егорушка с удивлением посмотрел на него; в это время сверкнула молния.

– Ничего, бей! – повторил Дымов.

И, не дожидаясь, когда Егорушка будет бить его или говорить с ним, он прыгнул вниз и сказал:

– Скушно мне!

Потом, переваливаясь с ноги на ногу, двигая лопатками, он лениво поплелся вдоль обоза и не то плачущим, не то досадующим голосом повторил:

– Скушно мне! Господи! А ты не обижайся, Емеля, – сказал он, проходя мимо Емельяна. – Жизнь наша пропащая, лютая!

Направо сверкнула молния, и, точно отразившись в зеркале, она тотчас же сверкнула вдали.

– Егорий, возьми! – крикнул Пантелей, подавая снизу что-то большое и темное.

– Что это? – спросил Егорушка.

– Рогожка! Будет дождик, так вот покроешься.

Егорушка приподнялся и посмотрел вокруг себя. Даль заметно почернела и уж чаще, чем каждую минуту, мигала бледным светом, как веками. Чернота ее, точно от тяжести, склонялась вправо.

– Дед, гроза будет? – спросил Егорушка.

– Ах, ножки мои больные, стуженые! – говорил нараспев Пантелей, не слыша его и при-топывая ногами.

Налево, как будто кто чиркнул по небу спичкой, мелькнула бледная, фосфорическая полоска и потухла. Послышалось, как где-то очень далеко кто-то прошелся по железной крыше. Вероятно, по крыше шли босиком, потому что железо проворчало глухо.

– А он обложной! – крикнул Кирюха.

Между далью и правым горизонтом мигнула молния, и так ярко, что осветила часть степи и место, где ясное небо граничило с чернотой. Страшная туча надвигалась не спеша, сплошной массой; на ее краю висели большие черные лохмотья; точно такие же лохмотья, давя друг друга, громоздились на правом и на левом горизонте. Этот оборванный, разлохмаченный вид тучи придавал ей какое-то пьяное, озорническое выражение. Явственно и не глухо проворчал гром. Егорушка перекрестился и стал быстро надевать пальто.

– Скушно мне! – донесся с передних возов крик Дымова, и по голосу его можно было судить, что он уж опять начинал злиться. – Скушно!

Вдруг рванул ветер, и с такой силой, что едва не выхватил у Егорушки узелок и рогожу; встрепенувшись, рогожа рванулась во все стороны и захлопала по тюку и по лицу Егорушки. Ветер со свистом понесся по степи, беспорядочно закружился и поднял с травой такой шум, что из-за него не было слышно ни грома, ни скрипа колес. Он дул с черной тучи, неся с собой облака пыли и запах дождя и мокрой земли. Лунный свет затуманился, стал как будто грязнее, звезды еще больше нахмурились, и видно было, как по краю дороги спешили куда-то назад облака пыли и их тени. Теперь, по всей вероятности, вихри, кружась и увлекая с земли пыль, сухую траву и перья, поднимались под самое небо; вероятно, около самой черной тучи летали перекати-поле, и как, должно быть, им было страшно! Но сквозь пыль, залеплявшую глаза, не было видно ничего, кроме блеска молний.

Егорушка, думая, что сию минуту польет дождь, стал на колени и укрылся рогожей.

– Пантелле-ей! – крикнул кто-то впереди. – А... а...ва!

– Не слыха-ать! – ответил громко и нараспев Пантелей. – А...а...ва! Аря...а!

Загремел сердито гром, покатился по небу справа налево, потом назад и замер около передних подвод.

– Свят, свят, свят, господь Саваоф, – прошептал Егорушка, крестясь, – исполнь небо и земля славы твоя...

Чернота на небе раскрыла рот и дыхнула белым огнем; тотчас же опять загремел гром; едва он умолк, как молния блеснула так широко, что Егорушка сквозь щели рогожи увидел вдруг всю большую дорогу до самой дали, всех подводчиков и даже Кирюхину жилетку. Черные лохмотья слева уже поднимались кверху, и одно из них, грубое, неуклюжее, похожее на лапу с пальцами, тянулось к луне. Егорушка решил закрыть крепко глаза, не обращать внимания и ждать, когда все кончится.

Дождь почему-то долго не начинался. Егорушка в надежде, что туча, быть может, уходит мимо, выглянул из рогожи. Было страшно темно. Егорушка не увидел ни Пантелея, ни тюка, ни себя; покосился он туда, где была недавно луна, но там чернела такая же тьма, как и на возу. А молнии в потемках казались белее и ослепительнее, так что глазам было больно.

– Пантелей! – позвал Егорушка.

Ответа не последовало. Но вот наконец ветер в последний раз рванул рогожу и убежал куда-то. Послышался ровный, спокойный шум. Большая холодная капля упала на колено Егорушки, другая поползла по руке. Он заметил, что колени его не прикрыты, и хотел было поправить рогожу, но в это время что-то посыпалось и застучало по дороге, потом по оглоблям, по тюку. Это был дождь. Он и рогожа как будто поняли друг друга, заговорили о чем-то быстро, весело и препротивно, как две сороки.

Егорушка стоял на коленях или, вернее, сидел на сапогах. Когда дождь застучал по рогоже, он подался туловищем вперед, чтобы заслонить собою колени, которые вдруг стали мокры; колени удалось прикрыть, но зато меньше чем через минуту резкая, неприятная сырость почувствовалась сзади, ниже спины и на икрах. Он принял прежнюю позу, выставил колени под дождь и стал думать, что делать, как поправить в потемках невидимую рогожу.

Но руки его были уже мокры, в рукава и за воротник текла вода, лопатки зябли. И он решил ничего не делать, а сидеть неподвижно и ждать, когда все кончится.

– Свят, свят, свят... – шептал он.

Вдруг над самой головой его с страшным, оглушительным треском разломалось небо; он нагнулся и притаил дыхание, ожидая, когда на его затылок и спину посыпятся обломки. Глаза его нечаянно открылись, и он увидел, как на его пальцах, мокрых рукавах и струйках, бежавших с рогожи, на тюке и внизу на земле вспыхнул и раз пять мигнул ослепительно-едкий свет. Раздался новый удар, такой же сильный и ужасный. Небо уже не гремело, не грохотало и издавало сухие, трескучие, похожие на треск сухого дерева, звуки.

«Трах! тах! тах! тах!» – явственно отчеканивал гром, катился по небу, спотыкался и где-нибудь у передних возов или далеко сзади сваливался со злобным, отрывистым – «ттра!..».

Раньше молнии были только страшны, при таком же громе они представлялись зловещими. Их колдовской свет проникал сквозь закрытые веки и холодом разливался по всему телу. Что сделать, чтобы не видеть их? Егорушка решил обернуться лицом назад. Осторожно, как будто бы боясь, что за ним наблюдают, он стал на четвереньки и, скользя ладонями по мокрому тюку, повернулся назад.

«Трах! тах! тах!» – понеслось над его головой, упало под воз и разорвалось – «ррра!».

Глаза опять нечаянно открылись, и Егорушка увидел новую опасность: за возом шли три громадных великана с длинными пиками. Молния блеснула на остриях их пик и очень явственно осветила их фигуры. То были люди громадных размеров, с закрытыми лицами, поникшими головами и с тяжелою поступью. Они казались печальными и унылыми, погруженными в раздумье. Быть может, шли они за обозом не для того, чтобы причинить вред, но все-таки в их близости было что-то ужасное.

Егорушка быстро обернулся вперед и, дрожа всем телом, закричал:

– Пантелей! Дед!

«Трах! тах! тах!» – ответило ему небо.

Он открыл глаза, чтобы поглядеть, тут ли подводчики. Молния сверкнула в двух местах и осветила дорогу до самой дали, весь обоз и всех подводчиков. По дороге текли ручейки и прыгали пузыри. Пантелей шагал около воза, его высокая шляпа и плечи были покрыты небольшой рогожей; фигура не выражала ни страха, ни беспокойства, как будто он оглох от грома и ослеп от молнии.

– Дед, великаны! – крикнул ему Егорушка, плача.

Но дед не слышал. Далее шел Емельян. Этот был покрыт большой рогожей с головы до ног и имел теперь форму треугольника. Вася, ничем не покрытый, шагал так же деревянно, как всегда, высоко поднимая ноги и не сгибая колен. При блеске молнии казалось, что обоз не двигался и подводчики застыли, что у Васи онемела поднятая нога...

Егорушка еще позвал деда. Не добившись ответа, он сел неподвижно и уж не ждал, когда все кончится. Он был уверен, что сию минуту его убьет гром, что глаза нечаянно откроются и он увидит страшных великанов. И он уж не крестился, не звал деда, не думал о матери и только коченел от холода и уверенности, что гроза никогда не кончится.

Но вдруг послышались голоса.

– Егоргий, да ты спишь, что ли? – крикнул внизу Пантелей. – Слезай! Оглох, дурачок!..

– Вот так гроза! – сказал какой-то незнакомый бас и крикнул так, как будто выпил хороший стакан водки.

Егорушка открыл глаза. Внизу около воза стояли Пантелей, треугольник-Емельян и великаны. Последние были теперь много ниже ростом и, когда взгляделся в них Егорушка, оказались обыкновенными мужиками, державшими на плечах не пики, а железные вилы. В промежутке между Пантелеем и треугольником светилось окно невысокой избы. Значит, обоз стоял в деревне. Егорушка сбросил с себя рогожу, взял узелок и поспешил с воза. Теперь, когда вблизи

говорили люди и светилось окно, ему уж не было страшно, хотя гром трещал по-прежнему и молния полосовала все небо.

– Гроза хорошая, ничего... – бормотал Пантелей. – Слава богу... Ножки маленько промякли от дождичка, оно и ничего... Слез, Егоргий? Ну, иди в избу... Ничего...

– Свят, свят, свят... – просипел Емельян. – Беспременно где-нибудь ударило... Вы тутощние? – спросил он великанов.

– Не, из Глинова... Мы глиновские. У господ Платеров работаем.

– Молотите, что ли?

– Разное. Покеда еще пшеницу убираем. А молонья-то, молонья! Давно такой грозы не было...

Егорушка вошел в избу. Его встретила тощая, горбатая старуха с острым подбородком. Она держала в руках сальную свечку, шурилась и протяжно вздыхала.

– Грозу-то какую бог послал! – говорила она. – А наши в степу ночуют, то-то натерпятя, сердешные! Раздевайся, батюшка, раздевайся...

Дрожа от холода и брезгливо пожимаясь, Егорушка стащил с себя промокшее пальто, потом широко расставил руки и ноги и долго не двигался. Каждое малейшее движение вызывало в нем неприятное ощущение мокроты и холода. Рукава и спина на рубахе были мокры, брюки прилипли к ногам, с головы текло...

– Что ж, хлопчик, раскорякой-то стоять? – сказала старуха. – Иди садись!

Расставя широко ноги, Егорушка подошел к столу и сел на скамью около чьей-то головы. Голова задвигалась, пустила носом струю воздуха, пожевала и успокоилась. От головы вдоль скамьи тянулся бугор, покрытый овчинным тулупом. Это спала какая-то баба.

Старуха, вздыхая, вышла и скоро вернулась с арбузом и дыней.

– Кушай, батюшка! Больше угощать нечем... – сказала она, зевая, затем порылась в столе и достала оттуда длинный, острый ножик, очень похожий на те ножи, какими на постоялых дворах разбойники режут купцов. – Кушай, батюшка!

Егорушка, дрожа как в лихорадке, съел ломоть дыни с черным хлебом, потом ломоть арбуза, и от этого ему стало еще холодней.

– Наши в степу ночуют... – вздыхала старуха, пока он ел. – Страсти господни... Свечечку бы перед образом засветить, да не знаю, куда Степанида девала. Кушай, батюшка, кушай...

Старуха зевнула и, закинув назад правую руку, почесала ею левое плечо.

– Должно, часа два теперь, – сказала она. – Скоро и вставать пора. Наши-то в степу ночуют... Небось вымокли все...

– Бабушка, – сказал Егорушка, – я спать хочу.

– Ложись, батюшка, ложись... – вздохнула старуха, зевая. – Господи Иисусе Христе! Сама и сплю, и слышу, как будто кто стучит. Проснулась, гляжу, а это грозу бог послал. Свечечку бы засветить, да не нашла.

Разговаривая с собой, она сдернула со скамьи какое-то тряпье, вероятно свою постель, сняла с гвоздя около печи два тулупа и стала постилать для Егорушки.

– Гроза-то не унимается, – бормотала она. – Как бы, не ровен час, чего не спалило. Наши-то в степу ночуют... Ложись, батюшка, спи... Христос с тобой, внучек... Дыню-то я убирать не стану, может, вставши, покушаешь.

Вздохи и зеванье старухи, мерное дыхание спавшей бабы, сумерки избы и шум дождя за окном располагали ко сну. Егорушке было совестно раздеваться при старухе. Он снял только сапоги, лег и укрылся овчинным тулупом.

– Парнишка лег? – послышался через минуту шепот Пантелея.

– Лег! – ответила шепотом старуха. – Страсти-то, страсти господни! Гремит, гремит, и конца не слышать...

– Сейчас пройдет... – прошипел Пантелей, садясь. – Потихо стало... Ребята пошли по избам, а двое при лошадях остались... Ребята-то... Нельзя... Уведут лошадей... Вот посижу маленько и пойду на смену... Нельзя, уведут...

Пантелей и старуха сидели рядом у ног Егорушки и говорили шипящим шепотом, прерывая свою речь вздохами и зевками. А Егорушка никак не мог согреться. На нем лежал теплый, тяжелый тулуп, но все тело тряслось, руки и ноги сводило судорогами, внутренности дрожали... Он разделся под тулупом, но и это не помогло. Озноб становился все сильнее и сильнее.

Пантелей ушел на смену и потом опять вернулся, а Егорушка все еще не спал и дрожал всем телом. Что-то давило ему голову и грудь, угнетало его, и он не знал, что это: шепот ли стариков или тяжелый запах овчины? От съеденных арбуза и дыни во рту был неприятный, металлический вкус. К тому же еще кусались блохи.

– Дед, мне холодно! – сказал он и не узнал своего голоса.

– Спи, внучек, спи... – вздохнула старуха.

Тит на тонких ножках подошел к постели и замахал руками, потом вырос до потолка и обратился в мельницу. Отец Христофор, не такой, каким он сидел в бричке, а в полном облачении и с кропилом в руке, прошелся вокруг мельницы, покропил ее святой водой, и она перестала махать. Егорушка, зная, что это бред, открыл глаза.

– Дед! – позвал он. – Дай воды!

Никто не отозвался. Егорушке стало невыносимо душно и неудобно лежать. Он встал, оделся и вышел из избы. Уже наступило утро. Небо было пасмурно, но дождя уже не было. Дрожа и кутаясь в мокрое пальто, Егорушка прошелся по грязному двору, прислушался к тишине; на глаза ему попался маленький хлевок с камышовой, наполовину открытой дверкой. Он заглянул в этот хлевок, вошел в него и сел в темном углу на кизяк...

В его тяжелой голове путались мысли, во рту было сухо и противно от металлического вкуса. Он оглядел свою шляпу, поправил на ней павлинье перо и вспомнил, как ходил с мамашей покупать эту шляпу. Сунул он руку в карман и достал оттуда комок бурой, липкой замазки. Как эта замазка попала ему в карман? Он подумал, понюхал: пахнет медом. Ага, это еврейский пряник! Как он, бедный, размок!

Егорушка оглядел свое пальто. А пальто у него было серенькое, с большими костяными пуговицами, сшитое на манер сюртука. Как новая и дорогая вещь, дома висело оно не в передней, а в спальней, рядом с мамашиними платьями; надевать его позволялось только по праздникам. Поглядев на него, Егорушка почувствовал к нему жалость, вспомнил, что он и пальто – оба брошены на произвол судьбы, что им уж больше не вернуться домой, и зарыдал так, что едва не свалился с кизяка.

Большая белая собака, смоченная дождем, с ключьями шерсти на морде, похожими на папильотки, вошла в хлев и с любопытством уставилась на Егорушку. Она, по-видимому, думала: залаять или нет? Решив, что лаять не нужно, она осторожно подошла к Егорушке, съела замазку и вышла.

– Это варламовские! – крикнул кто-то на улице.

Наплакавшись, Егорушка вышел из хлева и, обходя лужу, поплелся на улицу. Как раз перед воротами на дороге стояли возы. Мокрые подводчики с грязными ногами, вялые и сонные, как осенние мухи, бродили возле или сидели на оглоблях. Егорушка поглядел на них и подумал: «Как скучно и неудобно быть мужиком!» Он подошел к Пантелею и сел с ним рядом на оглоблю.

– Дед, мне холодно! – сказал он, дрожа и засовывая руки в рукава.

– Ничего, скоро до места доедем, – зевнул Пантелей. – Оно ничего, согреешься.

Обоз тронулся с места рано, потому что было не жарко. Егорушка лежал на тюке и дрожал от холода, хотя солнце скоро показалось на небе и высушило его одежду, тюк и землю. Едва

он закрыл глаза, как опять увидел Тита и мельницу. Чувствуя тошноту и тяжесть во всем теле, он напрягал силы, чтобы отогнать от себя эти образы, но едва они исчезали, как на Егорушку с ревом бросался озорник Дымов с красными глазами и с поднятыми кулаками, или же слышалось, как он тосковал: «Скушно мне!» Проезжал на казачьем жеребчике Варламов, проходил со своей улыбкой и с дрохвой счастливый Константин. И как все эти люди были тяжелы, несносны и надоедливы!

Раз – это было уже перед вечером – он поднял голову, чтобы попросить пить. Обоз стоял на большом мосту, тянувшемся через широкую реку. Внизу над рекой темнел дым, а сквозь него виден был пароход, тащивший на буксире баржу. Впереди за рекой пестрела громадная гора, усеянная домами и церквами; у подножия горы около товарных вагонов бегал локомотив...

Раньше Егорушка не видел никогда ни пароходов, ни локомотивов, ни широких рек. Взглянув теперь на них, он не испугался, не удивился; на лице его не выразилось даже ничего похожего на любопытство. Он только почувствовал дурноту и поспешил лечь грудью на край тюка. Его стошнило. Пантелей, видевший это, крикнул и покрутил головой.

– Захворал наш парнишка! – сказал он. – Должно, живот застудил... парнишка-то... На чужой стороне... Плохо дело!

## VIII

Обоз остановился недалеко от пристани в большом торговом подворье. Слезая с воза, Егорушка услышал чей-то очень знакомый голос. Кто-то помогал ему слезать и говорил:

– А мы еще вчера вечером приехали... Целый день нынче вас ждали. Хотели вчерась нагнать вас, да не рука была, другой дорогой поехали. Эка, как ты свою пальтишку измял! Достанется тебе от дяденьки!

Егорушка взгляделся в мраморное лицо говорившего и вспомнил, что это Дениска.

– Дяденька и отец Христофор теперь в номере, – продолжал Дениска, – чай пьют. Пойдем!

И он повел Егорушку к большому двухэтажному корпусу, темному и хмурому, похожему на N-ское богоугодное заведение. Пройдя сени, темную лестницу и длинный, узкий коридор, Егорушка и Дениска вошли в маленький номерок, в котором действительно за чайным столом сидели Иван Иваныч и о. Христофор. Увидев мальчика, оба старика изобразили на лицах удивление и радость.

– А-а, Егор Никола-аич! – пропел о. Христофор. – Господин Ломоносов!

– А, господа дворяне! – сказал Кузьмичов. – Милости просим.

Егорушка снял пальто, поцеловал руку дяде и о. Христофору и сел за стол.

– Ну, как доехал, *puer bone*?<sup>4</sup> – засыпал его о. Христофор вопросами, наливая ему чаю и, по обыкновению, лучезарно улыбаясь. – Небось надоело? И не дай бог на обозе или на волах ехать! Едешь, едешь, прости господи, взглянешь вперед, а степь все такая ж протяженно-сложенная, как и была: конца-краю не видать! Не езда, а чистое поношение. Что ж ты чаю не пьешь? Пей! А мы без тебя тут, пока ты с обозом тащился, все дела под орех разделали. Слава богу! Продали шерсть Черепяхину и так, как дай бог всякому... Хорошо попользовались.

При первом взгляде на своих Егорушка почувствовал непреодолимую потребность жаловаться. Он не слушал о. Христофора и придумывал, с чего бы начать и на что, собственно, пожаловаться. Но голос о. Христофора, казавшийся неприятным и резким, мешал ему сосредоточиться и путал его мысли. Не посидев и пяти минут, он встал из-за стола, пошел к дивану и лег.

– Вот те на! – удивился о. Христофор. – А как же чай?

Придумывая, на что бы такое пожаловаться, Егорушка припал лбом к стене дивана и вдруг зарыдал.

– Вот те на! – повторил о. Христофор, поднимаясь и идя к дивану. – Георгий, что с тобой? Что ты плачешь?

– Я... я болен! – проговорил Егорушка.

– Болен? – смутился о. Христофор. – Вот это уж и нехорошо, брат... Разве можно в дороге болеть? Ай, ай, какой ты, брат... а?

Он приложил руку к Егорушкиной голове, потрогал щеку и сказал:

– Да, голова горячая... Это ты, должно быть, простудился или чего-нибудь покушал... Ты бога призывай.

– Хинины ему дать... – сказал смущенно Иван Иваныч.

– Нет, ему бы чего-нибудь горяченького покушать... Георгий, хочешь супчику? А?

– Не... не хочу... – ответил Егорушка.

– Тебя знобит, что ли?

– Прежде знобило, а теперь... теперь жар. У меня все тело болит...

<sup>4</sup> Милый мальчик (*лат.*).

Иван Иваныч подошел к дивану, потрогал Егорушку за голову, смущенно крикнул и вернулся к столу.

– Вот что, ты раздевайся и ложись спать, – сказал о. Христофор, – тебе выспаться надо.

Он помог Егорушке раздеться, дал ему подушку и укрыл его одеялом, а поверх одеяла пальто Ивана Иваныча, затем отошел на цыпочках и сел за стол. Егорушка закрыл глаза, и ему тотчас же стало казаться, что он не в номере, а на большой дороге около костра; Емельян махнул рукой, а Дымов с красными глазами лежал на животе и насмешливо глядел на Егорушку.

– Бейте его! Бейте его! – крикнул Егорушка.

– Бредит... – проговорил вполголоса о. Христофор.

– Хлопоты! – вздохнул Иван Иваныч.

– Надо будет его маслом с уксусом смазать. Бог даст, к завтраму выздоровеет.

Чтобы отвязаться от тяжелых грез, Егорушка открыл глаза и стал смотреть на огонь. Отец Христофор и Иван Иваныч уже напились чаю и о чем-то говорили шепотом. Первый счастливо улыбался и, по-видимому, никак не мог забыть о том, что взял хорошую пользу на шерсти; веселила его не столько сама польза, сколько мысль, что, приехав домой, он соберет всю свою большую семью, лукаво подмигнет и расхохочется; сначала он всех обманет и скажет, что продал шерсть дешевле своей цены, потом же подаст зятю Михаиле толстый бумажник и скажет: «На, получай! Вот как надо дела делать!» Кузьмичов же не казался довольным. Лицо его по-прежнему выражало деловую сухость и заботу.

– Эх, кабы знать, что Черепяхин даст такую цену, – говорил он вполголоса, – то я б дома не продавал Макарову тех трехсот пудов! Такая досада! Но кто ж его знал, что тут цену подняли?

Человек в белой рубахе убрал самовар и зажег в углу перед образом лампадку. Отец Христофор шепнул ему что-то на ухо; тот сделал таинственное лицо, как заговорщик – понимаю, мол, – вышел и, вернувшись немного погодя, поставил под диван посудину. Иван Иваныч постлал себе на полу, несколько раз зевнул, лениво помолился и лег.

– А завтра я в собор думаю... – сказал о. Христофор. – Там у меня ключарь знакомый. К преосвященному бы надо после обедни, да, говорят, болен.

Он зевнул и потушил лампу. Теперь уж светила одна только лампадка.

– Говорят, не принимает, – продолжал о. Христофор, разоблачаясь. – Так и уеду, не повидавшись.

Он снял кафтан, и Егорушка увидел перед собой Робинзона Крузе. Робинзон что-то размешал в блюдечке, подошел к Егорушке и зашептал:

– Ломоносов, ты спишь? Встань-ка! Я тебя маслом с уксусом смажу. Оно хорошо, ты только бога призывай.

Егорушка быстро поднялся и сел. Отец Христофор снял с него сорочку и, пожимаясь, прерывисто дыша, как будто ему самому было щекотно, стал растирать Егорушке грудь.

– Во имя отца и сына и святого духа... – шептал он. – Ложись спиной кверху!.. Вот так. Завтра здоров будешь, только вперед не согрешай... Как огонь, горячий! Небось в грозу в дороге были?

– В дороге.

– Еще бы не захворать! Во имя отца и сына и святого духа... Еще бы не захворать!

Смазавши Егорушку, о. Христофор надел на него сорочку, укрыл, перекрестил и отошел. Потом Егорушка видел, как он молился богу. Вероятно, старик знал наизусть очень много молитв, потому что долго стоял перед образом и шептал. Помолвившись, он перекрестил окна, дверь, Егорушку, Ивана Иваныча, лег без подушки на диванчик и укрылся своим кафтаном. В коридоре часы пробили десять. Егорушка вспомнил, что еще много времени осталось до утра, в тоске припал лбом к спинке дивана и уж не старался отделаться от туманных угнетающих грез. Но утро наступило гораздо раньше, чем он думал.

Ему казалось, что он недолго лежал, припавши лбом к спинке дивана, но, когда он открыл глаза, из обоих окон номерка уже тянулись к полу косые солнечные лучи. Отца Христофора и Ивана Иваныча не было. В номерке было прибрано, светло, уютно и пахло о. Христофором, который всегда издавал запах кипариса и сухих васильков (дома он делал из васильков кропила и украшения для киотов, отчего и пропах ими насквозь). Егорушка поглядел на подушку, на косые лучи, на свои сапоги, которые теперь были вычищены и стояли рядышком около дивана, и засмеялся. Ему казалось странным, что он не на тюке, что кругом все сухо и на потолке нет молний и грома.

Он прыгнул с дивана и стал одеваться. Самочувствие у него было прекрасное; от вчерашней болезни осталась одна только небольшая слабость в ногах и в шее. Значит, масло и уксус помогли. Он вспомнил пароход, локомотив и широкую реку, которые смутно видел вчера, и теперь спешил поскорее одеться, чтобы побежать на пристань и поглядеть на них. Когда он, умывшись, надевал кумачовую рубаху, вдруг шелкнул в дверях замок и на пороге показался о. Христофор в своем цилиндре, с посохом и в шелковой коричневой рясе поверх парусинкового кафтана. Улыбаясь и сияя (старики, только что вернувшиеся из церкви, всегда испускают сияние), он положил на стол просфору и какой-то сверток, помолился и сказал:

– Бог милости прислал! Ну, как здоровье?

– Теперь хорошо, – ответил Егорушка, целуя ему руку.

– Слава богу... А я из обедни... Ходил с знакомым ключарем повидаться. Звал он меня к себе чай пить, да я не пошел. Не люблю по гостям ходить спозаранку. Бог с ними!

Он снял рясу, погладил себя по груди и не спеша развернул сверток. Егорушка увидел жестяночку с зернистой икрой, кусочек балыка и французский хлеб.

– Вот, шел мимо живорыбной лавки и купил, – сказал о. Христофор. – В будень не из чего бы роскошествовать, да, подумал, дома болящий, так оно как будто и простительно. А икра хорошая, осетровая...

Человек в белой рубахе принес самовар и поднос с посудой.

– Кушай, – сказал о. Христофор, намазывая икру на ломтик хлеба и подавая Егорушке. – Теперь кушай и гуляй, а настанет время, учиться будешь. Смотри же, учись со вниманием и прилежанием, чтобы толк был. Что наизусть надо, то учи наизусть, а где нужно рассказать своими словами внутренний смысл, не касаясь наружного, там своими словами. И старайся так, чтоб все науки выучить. Иной математику знает отлично, а про Петра Могилу не слыхал, а иной про Петра Могилу знает, а не может про луну объяснить. Нет, ты так учись, чтобы все понимать! Выучись по-латынски, по-французски, по-немецки... географию, конечно, историю, богословие, философию, математику... А когда всему выучишься не спеша, да с молитвою, да с усердием, тогда и поступай на службу. Когда все будешь знать, тебе на всякой стезе легко будет. Ты только учись да благодати набирайся, а уж бог укажет, кем тебе быть. Доктором ли, судьей ли, инженером ли...

Отец Христофор намазал на маленький кусочек хлеба немножко икры, положил его в рот и сказал:

– Апостол Павел говорит: на учения странна и различна не прилагайтеся. Конечно, если чернокнижие, буетовие или духов с того света вызывать, как Саул, или такие науки учить, что от них пользы ни себе, ни людям, то лучше не учиться. Надо воспринимать только то, что бог благословил. Ты соображайся... Святые апостолы говорили на всех языках – и ты учи языки; Василий Великий учил математику и философию – и ты учи, святой Нестор писал историю – и ты учи и пиши историю. Со святыми соображайся...

Отец Христофор отхлебнул из блюдечка, вытер усы и покрутил головой.

– Хорошо! – сказал он. – Я по-старинному обучен, многое уж забыл, да и то живу иначе, чем прочие. И сравнивать даже нельзя. Например, где-нибудь в большом обществе, за обедом ли, или в собрании скажешь что-нибудь по-латынски, или из истории, или философии, а людям

и приятно, да и мне самому приятно... Или вот тоже, когда приезжает окружной суд и нужно приводить к присяге; все прочие священники стесняются, а я с судьями, с прокурорами да с адвокатами запанибрата: по-ученому поговорю, чайку с ними попью, посмеюсь, расспрошу, чего не знаю... И им приятно. Так-то вот, брат... Ученье свет, а неученье тьма. Учись! Оно, конечно, тяжело: в теперешнее время ученье дорого обходится... Маменька твоя вдовица, пенсией живет, ну да ведь...

Отец Христофор испуганно поглядел на дверь и продолжал шепотом:

– Иван Иваныч будет помогать. Он тебя не оставит. Детей у него своих нету, и он тебе поможет. Не беспокойся.

Он сделал серьезное лицо и зашептал еще тише:

– Только ты смотри, Георгий, боже тебя сохрани, не забывай матери и Ивана Иваныча. Почитать мать велит заповедь, а Иван Иваныч тебе благодетель и вместо отца. Ежели ты выйдешь в ученые и, не дай бог, станешь тяготиться и пренебрегать людьми по той причине, что они глупее тебя, то горе, горе тебе!

Отец Христофор поднял вверх руку и повторил тонким голоском:

– Горе! Горе!

Отец Христофор разговорился и, что называется, вошел во вкус; он не окончил бы до обеда, но отворилась дверь, и вошел Иван Иваныч. Дядя торопливо поздоровался, сел за стол и стал быстро плотать чай.

– Ну, со всеми делами справился, – сказал он. – Сегодня бы и домой ехать, да вот с Егором еще забота. Надо его пристроить. Сестра говорила, что тут где-то ее подружка живет, Настасья Петровна, так вот, может, она его к себе на квартиру возьмет.

Он порылся в своем бумажнике, достал оттуда измятое письмо и прочел:

– «Малая Нижняя улица, Настасье Петровне Тоскуновой, в собственном доме». Надо будет сейчас пойти поискать ее.хлопоты!

Вскоре после чаю Иван Иваныч и Егорушка уж выходили из подворья.

– хлопоты! – бормотал дядя. – Привязался ты ко мне, как репейник, и ну тебя совсем к богу! Вам ученье да благородство, а мне одна мука с вами...

Когда они проходили двором, то возов и подводчиков уже не было, все они еще рано утром уехали на пристань. В дальнем углу двора темнела знакомая бричка; возле нее стояли гнедые и ели овес.

«Прощай, бричка!» – подумал Егорушка.

Сначала пришлось долго подниматься на гору по бульвару, потом идти через большую базарную площадь; тут Иван Иваныч справился у городского, где Малая Нижняя улица.

– Эва! – усмехнулся городской. – Она далече, туда к выгону!

На пути попадались навстречу извозчицьи пролетки, но такую слабость, как езда на извозчиках, дядя позволял себе только в исключительных случаях и по большим праздникам. Он и Егорушка долго шли по мощеным улицам, потом шли по улицам, где были одни только тротуары, а мостовых не было, и в конце концов попали на такие улицы, где не было ни мостовых, ни тротуаров. Когда ноги и язык довели их до Малой Нижней улицы, оба они были красны и, сняв шляпы, вытирали пот.

– Скажите, пожалуйста, – обратился Иван Иваныч к одному старичку, сидевшему у ворот на лавочке, – где тут дом Настасьи Петровны Тоскуновой?

– Никакой тут Тоскуновой нет, – ответил старик, подумав. – Может, Тимошенко?

– Нет, Тоскунова...

– Извините, Тоскуновой нету...

Иван Иваныч пожал плечами и поплелся дальше.

– Да не ищите! – крикнул ему сзади старик. – Говорю – нету, значит, нету!

– Послушай, тетенька, – обратился Иван Иванович к старухе, продававшей на углу в лотке подсолнухи и груши, – где тут дом Настасьи Петровны Тоскуновой?

Старуха поглядела на него с удивлением и засмеялась.

– Да нешто Настасья Петровна теперь в своем доме живет? – спросила она. – Господи, уж годов восемь, как она дочку выдала и дом свой зятю отказала! Там теперь зять живет.

А глаза ее говорили: «Как же вы, дураки, такого пустяка не знаете?»

– А где она теперь живет? – спросил Иван Иванович.

– Господи! – удивилась старуха, всплескивая руками. – Она уж давно на квартире живет! Уж годов восемь, как свой дом зятю отказала. Что вы!

Она, вероятно, ожидала, что Иван Иванович тоже удивится и воскликнет: «Да не может быть!!», но тот очень покойно спросил:

– Где ж ее квартира?

Торговка засучила рукава и, указывая голой рукой, стала кричать пронзительным тонким голосом:

– Идите все прямо, прямо, прямо... Вот как пройдете красенький домичек, так на левой руке будет переулочек. Так вы идите в этот переулочек и глядите третьи ворота справа...

Иван Иванович и Егорушка дошли до красного домика, повернули налево в переулок и направились к третьим воротам справа. По обе стороны этих серых, очень старых ворот тянулся серый забор с широкими щелями; правая часть забора сильно накренилась вперед и грозила падением, левая покосилась назад во двор, ворота же стояли прямо и, казалось, еще выбирали, куда им удобнее свалиться, вперед или назад. Иван Иванович отворил калитку и вместе с Егорушкой увидел большой двор, поросший бурьяном и репейником. В ста шагах от ворот стоял небольшой домик с красной крышей и с зелеными ставнями. Какая-то полная женщина, с засученными рукавами и с поднятым фартуком, стояла среди двора, сыпала что-то на землю и кричала так же пронзительно-тонко, как и торговка:

– Цып!.. цып! цып!

Сзади нее сидела рыжая собака с острыми ушами. Увидев гостей, она побежала к калитке и залаяла тенором (все рыжие собаки лают тенором).

– Кого вам? – крикнула женщина, заслоняя рукой глаза от солнца.

– Здравствуйте! – тоже крикнул ей Иван Иванович, отмахиваясь палкой от рыжей собаки. – Скажите, пожалуйста, здесь живет Настасья Петровна Тоскунова?

– Здесь! А на что вам?

Иван Иванович и Егорушка подошли к ней. Она подозрительно оглядела их и повторила:

– На что она вам?

– Да, может, вы сами Настасья Петровна?

– Ну, я!

– Очень приятно... Видите ли, кланялась вам ваша давнишняя подружка, Ольга Ивановна Князева. Вот это ее сынок. А я, может, помните, ее родной брат, Иван Иванович... Вы ведь наша, Н-ская... Вы у нас и родились, и замуж выходили...

Наступило молчание. Полная женщина усталилась бессмысленно на Ивана Ивановича, как бы не веря или не понимая, потом вся вспыхнула и всплеснула руками; из фартука ее посыпался овес, из глаз брызнули слезы.

– Ольга Ивановна! – взвизгнула она, тяжело дыша от волнения. – Голубушка моя родная! Ах, батюшки, так что же я, как дура, стою? Ангельчик ты мой хорошенький...

Она обняла Егорушку, обмочила слезами его лицо и совсем заплакала.

– Господи! – сказала она, ломая руки. – Олечкин сыночек! Вот радость-то! Совсем мать! Чистая мать! Да что ж вы на дворе стоите? Пожалуйста в комнаты!

Плача, задыхаясь и говоря на ходу, она поспешила к дому; гости поплелись за ней.

– У меня не прибрано! – говорила она, вводя гостей в маленький душный зал, весь уставленный образами и цветочными горшками. – Ах, мать божия! Василиса, поди хоть ставни отвори! Ангельчик мой! Красота моя неописанная! Я и не знала, что у Олечки такой сыночек!

Когда она успокоилась и привыкла к гостям, Иван Иванович пригласил ее поговорить наедине. Егорушка вышел в другую комнатку; тут стояла швейная машина, на окне висела клетка со скворцом, и было так же много образов и цветов, как и в зале. Около машины неподвижно стояла какая-то девочка, загорелая, со щеками пухлыми, как у Тита, и в чистеньком ситцевом платье. Она, не мигая, глядела на Егорушку и, по-видимому, чувствовала себя очень неловко. Егорушка поглядел на нее, помолчал и спросил:

– Как тебя звать?

Девочка пошевелила губами, сделала плачущее лицо и тихо сказала:

– Атька...

Это значило: Катька.

– Он у вас будет жить, – шептал в зале Иван Иванович, – ежели вы будете такие добрые, а мы вам будем по десяти рублей в месяц платить. Он у нас мальчик не балованный, тихий...

– Уж не знаю, как вам и сказать, Иван Иванович! – плаксиво вздыхала Настасья Петровна. – Десять рублей деньги хорошие, да ведь чужого-то ребенка брать страшно! Вдруг заболит или что...

Когда Егорушку опять позвали в зал, Иван Иванович уже стоял со шляпой в руках и прощался.

– Что ж? Значит, пускай теперь и остается у вас, – говорил он. – Прощайте! Оставайся, Егор! – сказал он, обращаясь к племяннику. – Не балуй тут, слушайся Настасью Петровну... Прощай! Я приду еще завтра.

И он ушел. Настасья Петровна еще раз обняла Егорушку, обозвала его ангельчиком и, заплаканная, стала собирать на стол. Через три минуты Егорушка уж сидел рядом с ней, отвечал на ее бесконечные расспросы и ел жирные горячие щи.

А вечером он сидел опять за тем же столом и, положив голову на руку, слушал Настасью Петровну. Она, то смеясь, то плача, рассказывала ему про молодость его матери, про свое замужество, про своих детей... В печке кричал сверчок, и едва слышно гудела горелка в лампе. Хозяйка говорила вполголоса и то и дело от волнения роняла наперсток, а Катя, ее внучка, лазала за ним под стол и каждый раз долго сидела под столом, вероятно, рассматривая Егорушкины ноги. А Егорушка слушал, дремал и рассматривал лицо старухи, ее бородавку с волосками, полоски от слез... И ему было грустно, очень грустно! Спать его положили на сундуке и предупредили, что если он ночью захочет покушать, то чтобы сам вышел в коридорчик и взял там на окне цыпленка, накрытого тарелкой.

На другой день утром приходили прощаться Иван Иванович и о. Христофор. Настасья Петровна обрадовалась и собралась было ставить самовар, но Иван Иванович, очень спешивший, махнул рукой и сказал:

– Некогда нам с чаями да с сахарами! Мы сейчас уйдем.

Перед прощаньем все сели и помолчали минуту. Настасья Петровна глубоко вздохнула и заплаканными глазами поглядела на образа.

– Ну, – начал Иван Иванович, поднимаясь, – значит, ты остаешься...

С лица его вдруг исчезла деловая сухость, он немножко покраснел, грустно улыбнулся и сказал:

– Смотри же, учись... Не забывай матери и слушайся Настасью Петровну... Если будешь, Егор, хорошо учиться, то я тебя не оставлю.

Он вынул из кармана кошелек, повернулся к Егорушке спиной, долго рылся в мелкой монете и, найдя гривенник, дал его Егорушке. Отец Христофор вздохнул и не спеша благословил Егорушку.

– Во имя отца и сына и святого духа... Учись, – сказал он. – Трудись, брат... Ежели помру, поминай. Вот прими и от меня гривенничек...

Егорушка поцеловал ему руку и заплакал. Что-то в душе шепнуло ему, что уж он больше никогда не увидится с этим стариком.

– Я, Настасья Петровна, уж подал в гимназию прошение, – сказал Иван Иваныч таким голосом, как будто в зале был покойник. – Седьмого августа вы его на экзамен сведете... Ну, прощайте! Оставайтесь с богом. Прощай, Егор!

– Да вы бы хоть чайку покушали! – простонала Настасья Петровна.

Сквозь слезы, застилавшие глаза, Егорушка не видел, как вышли дядя и о. Христофор. Он бросился к окну, но во дворе их уже не было, и от ворот с выражением исполненного долга бежала назад только что лаявшая рыжая собака. Егорушка, сам не зная зачем, рванулся с места и полетел из комнат. Когда он выбежал за ворота, Иван Иваныч и о. Христофор, помахивая – первый палкой с крючком, второй посохом, поворачивали уже за угол. Егорушка почувствовал, что с этими людьми для него исчезло навсегда, как дым, все то, что до сих пор было пережито; он опустился в изнеможении на лавочку и горькими слезами приветствовал новую, неведомую жизнь, которая теперь начиналась для него... Какова-то будет эта жизнь?

1888

## Скучная история Из записок старого человека

### I

Есть в России заслуженный профессор Николай Степанович такой-то, тайный советник и кавалер; у него так много русских и иностранных орденов, что когда ему приходится надевать их, то студенты величают его иконостасом. Знакомство у него самое аристократическое; по крайней мере за последние двадцать пять – тридцать лет в России нет и не было такого знаменитого ученого, с которым он не был бы коротко знаком. Теперь дружить ему не с кем, но если говорить о прошлом, то длинный список его славных друзей заканчивается такими именами, как Пирогов, Кавелин и поэт Некрасов, дарившие его самой искренней и теплой дружбой. Он состоит членом всех русских и трех заграничных университетов. И прочее и прочее. Все это и многое, что еще можно было бы сказать, составляет то, что называется моим именем.

Это мое имя популярно. В России оно известно каждому грамотному человеку, а за границей оно упоминается с кафедр с прибавкою известный и почтенный. Принадлежит оно к числу тех немногих счастливых имен, бранить которые или упоминать их все в публике и в печати считается признаком дурного тона. Так это и должно быть. Ведь с моим именем тесно связано понятие о человеке знаменитом, богато одаренном и, несомненно, полезном. Я трудолюбив и вынослив, как верблюд, а это важно, и талантлив, а это еще важнее. К тому же, к слову сказать, я воспитанный, скромный и честный малый. Никогда я не совал своего носа в литературу и в политику, не искал популярности в полемике с невеждами, не читал речей ни на обедах, ни на могилах своих товарищей... Вообще на моем ученом имени нет ни одного пятна и пожаловаться ему не на что. Оно счастливо.

Носящий это имя, то есть я, изображаю из себя человека шестидесяти двух лет, с лысой головой, с вставными зубами и с неизлечимым tic'ом. Насколько блестяще и красиво мое имя, настолько тускл и безобразен я сам. Голова и руки у меня трясутся от слабости; шея, как у одной тургеневской героини, похожа на ручку контрабаса, грудь впалая, спина узкая. Когда я говорю или читаю, рот у меня кривится в сторону; когда улыбаюсь – все лицо покрывается старчески-мертвенными морщинами. Ничего нет внушительного в моей жалкой фигуре; только разве, когда бываю я болен tic'ом, у меня появляется какое-то особенное выражение, которое у всякого, при взгляде на меня, должно быть, вызывает суровую внушительную мысль: «По-видимому, этот человек скоро умрет».

Читаю я по-прежнему не худо; как и прежде, я могу удерживать внимание слушателей в продолжение двух часов. Моя страстность, литературность изложения и юмор делают почти незаметными недостатки моего голоса, а он у меня сух, резок и певуч, как у ханжи. Пишу же я дурно. Тот кусочек моего мозга, который заведует писательскою способностью, отказался служить. Память моя ослабела, в мыслях недостаточно последовательности, и, когда я излагаю их на бумаге, мне всякий раз кажется, что я потерял чутье к их органической связи, конструкция однообразна, фраза скудна и робка. Часто пишу я не то, что хочу; когда пишу конец, не помню начала. Часто я забываю обыкновенные слова, и всегда мне приходится тратить много энергии, чтобы избежать в письме лишних фраз и ненужных вводных предложений – то и другое ясно свидетельствует об упадке умственной деятельности. И замечательно, чем проще письмо, тем мучительнее мое напряжение. За научной статьей я чувствую себя гораздо свободнее и умнее, чем за поздравительным письмом или докладной запиской. Еще одно: писать по-немецки или английски для меня легче, чем по-русски.

Что касается моего теперешнего образа жизни, то прежде всего я должен отметить бессонницу, которою страдаю в последнее время. Если бы меня спросили: что составляет теперь главную и основную черту твоего существования? Я ответил бы: бессонница. Как и прежде, по привычке, ровно в полночь я раздеваюсь и ложусь в постель. Засыпаю я скоро, но во втором часу просыпаюсь, и с таким чувством, как будто совсем не спал. Приходится вставать с постели и зажигать лампу. Час или два я хожу из угла в угол по комнате и рассматриваю давно знакомые картины и фотографии. Когда надоедает ходить, сажусь за свой стол. Сажусь я неподвижно, ни о чем не думая и не чувствуя никаких желаний; если передо мной лежит книга, то машинально я придвигаю ее к себе и читаю без всякого интереса. Так, недавно, в одну ночь я прочел машинально целый роман под странным названием: «О чем пела ласточка». Или же я, чтобы занять свое внимание, заставляю себя считать до тысячи, или воображаю лицо кого-нибудь из товарищей и начинаю вспоминать: в каком году и при каких обстоятельствах он поступил на службу? Люблю прислушиваться к звукам. То за две комнаты от меня быстро проговорит что-нибудь в бреду моя дочь Лиза, то жена пройдет через залу со свечой и непременно уронит коробку со спичками, то скрипнет рассыхающийся шкаф, или неожиданно загудит горелка в лампе – и все эти звуки почему-то волнуют меня.

Не спать ночью – значит каждую минуту сознавать себя ненормальным, а потому я с нетерпением жду утра и дня, когда я имею право не спать. Проходит много томительного времени, прежде чем на дворе закричит петух. Это мой первый благовеститель. Как только он прокричит, я уже знаю, что через час внизу проснется швейцар и, сердито кашляя, пойдет зачем-то вверх по лестнице. А потом за окнами начнет мало-помалу бледнеть воздух, раздадутся на улице голоса...

День начинается у меня приходом жены. Она входит ко мне в юбке, непричесанная, но уже умытая, пахнувшая цветочным одеколоном, и с таким видом, как будто вошла нечаянно, и всякий раз говорит одно и то же:

– Извини, я на минутку... Ты опять не спал?

Затем она тушит лампу, садится около стола и начинает говорить. Я не пророк, но заранее знаю, о чем будет речь. Каждое утро одно и то же. Обыкновенно после тревожных расспросов о моем здоровье она вдруг вспоминает о нашем сыне офицере, служащем в Варшаве. После двадцатого числа каждого месяца мы высылаем ему по пятьдесят рублей – это главным образом и служит темой для нашего разговора.

– Конечно, это нам тяжело, – вздыхает жена, – но, пока он окончательно не стал на ноги, мы обязаны помогать ему. Мальчик на чужой стороне, жалованье маленькое... Впрочем, если хочешь, в будущем месяце мы пошлем ему не пятьдесят, а сорок. Как ты думаешь?

Ежедневный опыт мог бы убедить жену, что расходы не становятся меньше оттого, что мы часто говорим о них, но жена моя не признает опыта и аккуратно каждое утро рассказывает и о нашем офицере, и о том, что хлеб, слава богу, стал дешевле, а сахар подорожал на две копейки – и все это таким тоном, как будто сообщает мне новость.

Я слушаю, машинально поддакиваю, и, вероятно, оттого, что не спал ночь, странные, ненужные мысли овладевают мной. Я смотрю на свою жену и удивляюсь, как ребенок. В недоумении я спрашиваю себя: неужели эта старая, очень полная, неуклюжая женщина, с тупым выражением мелочной заботы и страха перед куском хлеба, со взглядом, отуманенным постоянными мыслями о долгах и нужде, умеющая говорить только о расходах и улыбаться только дешевизне, – неужели эта женщина была когда-то той самой тоненькой Варей, которую я страстно полюбил за хороший, ясный ум, за чистую душу, красоту и, как Отелло Дездемону, за «состраданье» к моей науке? Неужели это та самая жена моя Варя, которая когда-то родила мне сына?

Я напряженно всматриваюсь в лицо сырой, неуклюжей старухи, ищу в ней свою Варю, но от прошлого у ней уцелел только страх за мое здоровье да еще манера мое жалованье называть

нашим жалованьем, мою шапку – нашей шапкой. Мне больно смотреть на нее, и, чтобы утешить ее хоть немного, я позволяю ей говорить что угодно и даже молчу, когда она несправедливо судит о людях или журит меня за то, что я не занимаюсь практикой и не издаю учебников.

Кончается наш разговор всегда одинаково. Жена вдруг вспоминает, что я еще не пил чаю, и пугается.

– Что ж это я сижу? – говорит она, поднимаясь. – Самовар давно на столе, а я тут болтаю. Какая я стала беспамятная, господи!

Она быстро идет и останавливается у двери, чтобы сказать:

– Мы Егору должны за пять месяцев. Ты это знаешь? Не следует запускать жалованья прислуге, сколько раз я говорила! Отдать за месяц десять рублей гораздо легче, чем за пять месяцев – пятьдесят!

Выйдя за дверь, она опять останавливается и говорит:

– Никого мне так не жаль, как нашу бедную Лизу. Учится девочка в консерватории, постоянно в хорошем обществе, а одета бог знает как. Такая шубка, что на улицу стыдно показаться. Будь она чья-нибудь другая, это бы еще ничего, но ведь все знают, что ее отец знаменитый профессор, тайный советник!

И, попрекнув меня моим именем и чином, она, наконец, уходит. Так начинается мой день. Продолжается он не лучше.

Когда я пью чай, ко мне входит моя Лиза, в шубке, в шапочке и с нотами, уже совсем готовая, чтобы идти в консерваторию. Ей двадцать два года. На вид она моложе, хороша собой и немножко похожа на мою жену в молодости. Она нежно целует меня в висок и в руку и говорит:

– Здравствуй, папочка. Ты здоров?

В детстве она очень любила мороженое, и мне часто приходилось водить ее в кондитерскую. Мороженое для нее было мерилom всего прекрасного. Если ей хотелось похвалить меня, то она говорила: «Ты, папа, сливочный». Один пальчик назывался у нее фисташковым, другой сливочным, третий малиновым и т. д. Обыкновенно, когда по утрам она приходила ко мне здороваться, я сажал ее к себе на колени и, целуя ее пальчики, приговаривал:

– Сливочный... фисташковый... лимонный...

И теперь, по старой памяти, я целую пальцы Лизы и бормочу: «фисташковый... сливочный... лимонный...», но выходит у меня совсем не то. Я холоден, как мороженое, и мне стыдно. Когда входит ко мне дочь и касается губами моего виска, я вздрагиваю, точно в висок жалит меня пчела, напряженно улыбаюсь и отворачиваю свое лицо. С тех пор как я страдаю бессонницей, в моем мозгу гвоздем сидит вопрос: дочь моя часто видит, как я, старик, знаменитый человек, мучительно краснею оттого, что должен лакею; она видит, как часто забота о мелких долгах заставляет меня бросать работу и по целым часам ходить из угла в угол и думать, но отчего же она ни разу тайком от матери не пришла ко мне и не шепнула: «Отец, вот мои часы, браслеты, сережки, платья... Заложите все это, тебе нужны деньги...»? Отчего она, видя, как я и мать, поддавшись ложному чувству, стараемся скрыть от людей свою бедность, отчего она не откажется от дорогого удовольствия заниматься музыкой? Я бы не принял ни часов, ни браслетов, ни жерть, храни меня бог, – мне не это нужно.

Кстати вспоминаю я и про своего сына, варшавского офицера. Это умный, честный и трезвый человек. Но мне мало этого. Я думаю, если бы у меня был отец-старик и если бы я знал, что у него бывают минуты, когда он стыдится своей бедности, то офицерское место я отдал бы кому-нибудь другому, а сам нанялся бы в работники. Подобные мысли о детях отравляют меня. К чему они? Таить в себе злое чувство против обыкновенных людей за то, что они не герои, может только узкий или озлобленный человек. Но довольно об этом.

В без четверти десять нужно идти к моим милым мальчикам читать лекцию. Одеваюсь и иду по дороге, которая знакома мне уже тридцать лет и имеет для меня свою историю. Вот большой серый дом с аптекой; тут когда-то стоял маленький домик, а в нем была портерная;

в этой портерной я обдумывал свою диссертацию и написал первое любовное письмо к Варе. Писал карандашом, на листе с заголовком «Historia morbi».<sup>5</sup> Вот бакалейная лавочка; когда-то хозяйничал в ней жидок, продававший мне в долг папиросы, потом толстая баба, любившая студентов за то, что «у каждого из них мать есть»; теперь сидит рыжий купец, очень равнодушный человек, пьющий чай из медного чайника. А вот мрачные, давно не отремонтированные университетские ворота; скучающий дворник в тулупе, метла, кучи снега... На свежего мальчика, приехавшего из провинции и воображающего, что храм науки в самом деле храм, такие ворота не могут произвести здорового впечатления. Вообще ветхость университетских построек, мрачность коридоров, копоть стен, недостаток света, унылый вид ступеней, вешалок и скамей в истории русского пессимизма занимают одно из первых мест на ряду причин предрасполагающих... Вот и наш сад. С тех пор как я был студентом, он, кажется, не стал ни лучше, ни хуже. Я его не люблю. Было бы гораздо умнее, если бы вместо чахоточных лип, желтой акации и редкой стриженной сирени росли тут высокие сосны и хорошие дубы. Студент, настроение которого в большинстве создается обстановкой, на каждом шагу, там, где он учится, должен видеть перед собою только высокое, сильное и изящное... Храни его бог от тощих деревьев, разбитых окон, серых стен и дверей, обитых рваной клеенкой.

Когда подхожу я к своему крыльцу, дверь распаивается и меня встречает мой старый сослуживец, сверстник и тезка швейцар Николай. Впустив меня, он крякает и говорит:

– Мороз, ваше превосходительство!

Или же, если моя шуба мокрая, то:

– Дождик, ваше превосходительство!

Затем он бежит впереди меня и отворяет на моем пути все двери. В кабинете он бережно снимает с меня шубу и в это время успевает сообщить мне какую-нибудь университетскую новость. Благодаря короткому знакомству, какое существует между всеми университетскими швейцарами и сторожами, ему известно все, что происходит на четырех факультетах, в канцелярии, в кабинете ректора, в библиотеке. Чего только он не знает! Когда у нас злобою дня бывает, например, отставка ректора или декана, то я слышу, как он, разговаривая с молодыми сторожами, называет кандидатов и тут же поясняет, что такого-то не утвердит министр, такой-то сам откажется, потом вдаётся в фантастические подробности о каких-то таинственных бумагах, полученных в канцелярии, о секретном разговоре, бывшем якобы у министра с попечителем, и т. п. Если исключить эти подробности, то в общем он почти всегда оказывается правым. Характеристики, делаемые им каждому из кандидатов, своеобразны, но тоже верны. Если вам нужно узнать, в каком году кто защищал диссертацию, поступил на службу, вышел в отставку или умер, то призовите к себе на помощь громадную память этого солдата, и он не только назовет вам год, месяц и число, но и сообщит также подробности, которыми сопровождалось то или другое обстоятельство. Так помнить может только тот, кто любит.

Он хранитель университетских преданий. От своих предшественников-швейцаров он получил в наследство много легенд из университетской жизни, прибавил к этому богатству много своего добра, добытого за время службы, и если хотите, то он расскажет вам много длинных и коротких историй. Он может рассказать о необыкновенных мудрецах, знавших *все*, о замечательных тружениках, не спавших по неделям, о многочисленных мучениках и жертвах науки; добро торжествует у него над злом, слабый всегда побеждает сильного, мудрый глупого, скромный гордого, молодой старого... Нет надобности принимать все эти легенды и небылицы за чистую монету, но процедите их, и у вас на фильтре останется то, что нужно: наши хорошие традиции и имена истинных героев, признанных всеми.

В нашем обществе все сведения о мире ученых исчерпываются анекдотами о необыкновенной рассеянности старых профессоров и двумя-тремя остротами, которые приписываются

---

<sup>5</sup> «История болезни» (лат.).

то Груберу, то мне, то Бабухину. Для образованного общества этого мало. Если бы оно любило науку, ученых и студентов так, как Николай, то его литература давно бы уже имела целые эпопеи, сказания и жития, каких, к сожалению, она не имеет теперь.

Сообщив мне новость, Николай придает своему лицу строгое выражение, и у нас начинается деловой разговор. Если бы в это время кто-нибудь посторонний послушал, как Николай свободно обращается с терминологией, то, пожалуй, мог бы подумать, что это ученый, замаскированный солдатом. Кстати сказать, толки об учености университетских сторожей сильно преувеличены. Правда, Николай знает больше сотни латинских названий, умеет собрать скелет, иногда приготовить препарат, рассмешить студентов какой-нибудь длинной ученой цитатой, но, например, незамысловатая теория кровообращения для него и теперь так же темна, как двадцать лет назад.

За столом в кабинете, низко нагнувшись над книгой или препаратом, сидит мой прозектор Петр Игнатьевич, трудолюбивый, скромный, но бесталанный человек, лет тридцати пяти, уже плешивый и с большим животом. Работает он от утра до ночи, читает массу, отлично помнит все прочитанное – и в этом отношении он не человек, а золото; в остальном же прочем – это ломовой конь, или, как иначе говорят, ученый тупица. Характерные черты ломового коня, отличающие его от таланта, таковы: кругозор его тесен и резко ограничен специальностью; вне своей специальности он наивен, как ребенок. Помнится, как-то утром я вошел в кабинет и сказал:

– Представьте, какое несчастье! Говорят, Скобелев умер.

Николай перекрестился, а Петр Игнатьевич обернулся ко мне и спросил:

– Какой это Скобелев?

В другой раз – это было несколько раньше – я объявил, что умер профессор Перов. Милейший Петр Игнатьевич спросил:

– А что он читал?

Кажется, запой у него под самым ухом Патти, напади на Россию полчища китайцев, случись землетрясение, он не пошевелинется ни одним членом и преспокойно будет смотреть прищуренным глазом в свой микроскоп. Одним словом, до Гекубы ему нет никакого дела. Я бы дорого дал, чтобы посмотреть, как этот сухарь спит со своей женой.

Другая черта: фанатическая вера в непогрешимость науки и главным образом всего того, что пишут немцы. Он уверен в самом себе, в своих препаратах, знает цель жизни и совершенно незнаком с сомнениями и разочарованиями, от которых седеют таланты. Рабское поклонение авторитетам и отсутствие потребности самостоятельно мыслить. Разубедить его в чем-нибудь трудно, спорить с ним невозможно. Извольте-ка поспорить с человеком, который глубоко убежден, что самая лучшая наука – медицина, самые лучшие люди – врачи, самые лучшие традиции – медицинские. От недоброго медицинского прошлого уцелела только одна традиция – белый галстук, который носят теперь доктора; для ученого же и вообще образованного человека могут существовать только традиции общеуниверситетские, без всякого деления их на медицинские, юридические и т. п., но Петру Игнатьевичу трудно согласиться с этим, и он готов спорить с вами до Страшного суда.

Будущность его представляется мне ясно. За всю свою жизнь он приготовит несколько сотен препаратов необыкновенной чистоты, напишет много сухих, очень приличных рефератов, сделает с десяток добросовестных переводов, но пороха не выдумает. Для пороха нужны фантазия, изобретательность, умение угадывать, а у Петра Игнатьевича нет ничего подобного. Короче говоря, это не хозяин в науке, а работник.

Я, Петр Игнатьевич и Николай говорим вполголоса. Нам немножко не по себе. Чувствуешь что-то особенное, когда за дверью морем гудит аудитория. За тридцать лет я не привык к этому чувству и испытываю его каждое утро. Я нервно застегиваю сюртук, задаю Николаю

лишние вопросы, сержусь... Похоже на то, как будто я трушу, но это не трусость, а что-то другое, чего я не в состоянии ни назвать, ни описать.

Без всякой надобности я смотрю на часы и говорю:

– Что ж? Надо идти.

И мы шествуем в таком порядке: впереди идет Николай с препаратами или с атласами, за ним я, а за мною, скромно поникнув головою, шагает ломовой конь; или же, если нужно, впереди на носилках несут труп, за трупом идет Николай и т. д. При моем появлении студенты встают, потом садятся, и шум моря внезапно стихает. Наступает штиль.

Я знаю, о чем буду читать, но не знаю, как буду читать, с чего начну и чем кончу. В голове нет ни одной готовой фразы. Но стоит мне только оглядеть аудиторию (она построена у меня амфитеатром) и произнести стереотипное: «В прошлой лекции мы остановились на...», как фразы длинной вереницей вылетают из моей души, и – пошла писать губерния! Говорю я неудержимо быстро, страстно, и, кажется, нет той силы, которая могла бы прервать течение моей речи. Чтобы читать хорошо, то есть нескучно и с пользой для слушателей, нужно, кроме таланта, иметь еще сноровку и опыт, нужно обладать самым ясным представлением о своих силах, о тех, кому читаешь, и о том, что составляет предмет твоей речи. Кроме того, надо быть человеком себе на уме, следить зорко и ни на одну секунду не терять поля зрения.

Хороший дирижер, передавая мысль композитора, делает сразу двадцать дел: читает партитуру, машет палочкой, следит за певцом, делает движение в сторону то барабана, то валторны и проч. То же самое и я, когда читаю. Предо мною полтора лица, не похожих одно на другое, и триста глаз, глядящих мне прямо в лицо. Цель моя – победить эту многоголовую гидру. Если я каждую минуту, пока читаю, имею ясное представление о степени ее внимания и о силе разума, то она в моей власти. Другой мой противник сидит во мне самом. Это – бесконечное разнообразие форм, явлений и законов и множество ими обусловленных своих и чужих мыслей. Каждую минуту я должен иметь ловкость выхватывать из этого громадного материала самое важное и нужное и так же быстро, как течет моя речь, облекать свою мысль в такую форму, которая была бы доступна разумению гидры и возбуждала бы ее внимание, причем надо зорко следить, чтобы мысли передавались не по мере их накопления, а в известном порядке, необходимом для правильной компоновки картины, какую я хочу нарисовать. Далее я стараюсь, чтобы речь моя была литературна, определения кратки и точны, фраза возможно проста и красива. Каждую минуту я должен осаживать себя и помнить, что в моем распоряжении имеются только час и сорок минут. Одним словом, работы немало. В одно и то же время приходится изображать из себя и ученого, и педагога, и оратора, и плохо дело, если оратор победит в вас педагога и ученого или наоборот.

Читаешь четверть, полчаса и вот замечаешь, что студенты начинают поглядывать на потолок, на Петра Игнатьевича, один полезет за платком, другой сядет поудобнее, третий улыбнется своим мыслям... Это значит, что внимание утомлено. Нужно принять меры. Пользуясь первым удобным случаем, я говорю какой-нибудь каламбур. Все полтора лица широко улыбаются, глаза весело блестят, слышится ненадолго гул моря. Я тоже смеюсь. Внимание освежилось, и я могу продолжать.

Никакой спорт, никакие развлечения и игры никогда не доставляли мне такого наслаждения, как чтение лекций. Только на лекции я мог весь отдаваться страсти и понимал, что вдохновение не выдумка поэтов, а существует на самом деле. И я думаю, что Геркулес после самого пикантного из своих подвигов не чувствовал такого сладостного изнеможения, какое переживал я всякий раз после лекций.

Это было прежде. Теперь же на лекциях я испытываю одно только мучение. Не проходит и получаса, как я начинаю чувствовать непобедимую слабость в ногах и в плечах; сажусь в кресло, но сидя читать я не привык; через минуту поднимаюсь, продолжаю стоя, потом опять сажусь. Во рту сохнет, голос сипнет, голова кружится... Чтобы скрыть от слушателей свое

состояние, я то и дело пью воду, кашляю, часто сморкаюсь, точно мне мешает насморк, говорю невпопад каламбуры и в конце концов объявляю перерыв раньше, чем следует. Но главным образом мне стыдно.

Мои совесть и ум говорят мне, что самое лучшее, что я мог бы теперь сделать, – это прочесть мальчикам прощальную лекцию, сказать им последнее слово, благословить их и уступить свое место человеку, который моложе и сильнее меня. Но пусть судит меня бог, у меня не хватает мужества поступить по совести.

К несчастью, я не философ и не богослов. Мне отлично известно, что проживу я еще не больше полугода; казалось бы, теперь меня должны бы больше всего занимать вопросы о загробных потемках и о тех видениях, которые посетят мой могильный сон. Но почему-то душа моя не хочет знать этих вопросов, хотя ум и сознает всю их важность. Как двадцать-тридцать лет назад, так и теперь перед смертью меня интересует одна только наука. Испуская последний вздох, я все-таки буду верить, что наука – самое важное, самое прекрасное и нужное в жизни человека, что она всегда была и будет высшим проявлением любви и что только ею одною человек победит природу и себя. Вера эта, быть может, наивна и несправедлива в своем основании, но я не виноват, что верю так, а не иначе; победить же в себе этой веры я не могу.

Но не в этом дело. Я только прошу снизойти к моей слабости и понять, что оторвать от кафедры и учеников человека, которого судьбы костного мозга интересуют больше, чем конечная цель мироздания, равносильно тому, если бы его взяли да и заколотили в гроб, не дожидаясь, пока он умрет.

От бессонницы и вследствие напряженной борьбы с возрастающей слабостью со мной происходит нечто странное. Среди лекции к горлу вдруг подступают слезы, начинают чесаться глаза, и я чувствую страстное, истерическое желание протянуть вперед руки и громко пожаловаться. Мне хочется прокричать громким голосом, что меня, знаменитого человека, судьба приговорила к смертной казни, что через каких-нибудь полгода здесь в аудитории будет хозяйничать уже другой. Я хочу прокричать, что я отравлен; новые мысли, каких не знал я раньше, отравили последние дни моей жизни и продолжают жалить мой мозг, как москиты. И в это время мое положение представляется таким ужасным, что мне хочется, чтобы все мои слушатели ужаснулись, вскочили с мест и в паническом страхе, с отчаянным криком бросились к выходу.

Нелегко переживать такие минуты.

## II

После лекции я сижу у себя дома и работаю. Читаю журналы, диссертации или готовлюсь к следующей лекции, иногда пишу что-нибудь. Работаю с перерывами, так как приходится принимать посетителей.

Слышится звонок. Это товарищ пришел поговорить о деле. Он входит ко мне со шляпой, с палкой и, протягивая ко мне ту и другую, говорит:

– Я на минуту, на минуту! Сидите, collega! Только два слова!

Первым делом мы стараемся показать друг другу, что мы оба необыкновенно вежливы и очень рады видеть друг друга. Я усаживаю его в кресло, а он усаживает меня; при этом мы осторожно поглаживаем друг друга по талиям, касаемся пуговиц, и похоже на то, как будто мы ощупываем друг друга и боимся обжечься. Оба смеемся, хотя и не говорим ничего смешного. Усевшись, наклоняемся друг к другу головами и начинаем говорить вполголоса. Как бы сердечно мы ни были расположены друг к другу, мы не можем, чтобы не золотить нашей речи всякой китайщиной вроде: «Вы изволили справедливо заметить» или «Как я уже имел честь вам сказать», не можем, чтобы не хохотать, если кто из нас сострит, хотя бы неудачно. Кончив говорить о деле, товарищ порывисто встает и, помахивая шляпой в сторону моей работы, начинает прощаться. Опять щупаем друг друга и смеемся. Провожая до передней; тут помогаю товарищу надеть шубу, но он всячески уклоняется от этой высокой чести. Затем, когда Егор отворяет дверь, товарищ уверяет меня, что я простужусь, а я делаю вид, что готов идти за ним даже на улицу. И когда наконец я возвращаюсь к себе в кабинет, лицо мое все еще продолжает улыбаться, должно быть, по инерции.

Немного погодя другой звонок. Кто-то входит в переднюю, долго раздевается и кашляет. Егор докладывает, что пришел студент. Я говорю: проси. Через минуту входит ко мне молодой человек приятной наружности. Вот уж год, как мы с ним находимся в натянутых отношениях: он отвратительно отвечает мне на экзаменах, а я ставлю ему единицы. Таких молодцов, которых я, выражаясь на студенческом языке, гоняю или проваливаю, у меня ежегодно набирается человек семь. Те из них, которые не выдерживают экзамена по неспособности или по болезни, обыкновенно несут свой крест терпеливо и не торгуются со мной; торгуются же и ходят ко мне на дом только сангвиники, широкие натуры, которым проволочка на экзаменах портит аппетит и мешает аккуратно посещать оперу. Первым я мирволю, а вторых гоняю по целому году.

– Садитесь, – говорю я гостю. – Что скажете?

– Извините, профессор, за беспокойство... – начинает он, заикаясь и не глядя мне в лицо. – Я бы не посмел беспокоить вас, если бы не... Я держал у вас экзамен уже пять раз и... и срезался. Прошу вас, будьте добры, поставьте мне удовлетворительно, потому что...

Аргумент, который все лентяи приводят в свою пользу, всегда один и тот же: они прекрасно выдержали по всем предметам и срезались только на моем, и это тем более удивительно, что по моему предмету они занимались всегда очень усердно и знают его прекрасно; срезались же они благодаря какому-то непонятному недоразумению.

– Извините, мой друг, – говорю я гостю, – поставить вам удовлетворительно я не могу. Подите еще почитайте лекции и приходите. Тогда увидим.

Пауза. Мне приходит охота немножко помучить студента за то, что пиво и оперу он любит больше, чем науку, и я говорю со вздохом:

– По-моему, самое лучшее, что вы можете теперь сделать, – это совсем оставить медицинский факультет. Если при ваших способностях вам никак не удастся выдержать экзамена, то, очевидно, у вас нет ни желания, ни призвания быть врачом.

Лицо сангвиника вытягивается.

– Простите, профессор, – усмехается он, – но это было бы с моей стороны по меньшей мере странно. Проучиться пять лет и вдруг... уйти!

– Ну да! Лучше потерять даром пять лет, чем потом всю жизнь заниматься делом, которого не любишь.

Но тотчас же мне становится жаль его, и я спешу сказать:

– Впрочем, как знаете. Итак, почитайте еще немножко и приходите.

– Когда? – глухо спрашивает лентяй.

– Когда хотите. Хоть завтра.

И в его добрых глазах я читаю: «Прийти-то можно, но ведь ты, скотина, опять меня прогонишь!»

– Конечно, – говорю я, – вы не станете учение оттого, что будете у меня экзаменоваться еще пятнадцать раз, но это воспитает в вас характер. И на том спасибо.

Наступает молчание. Я поднимаюсь и жду, когда уйдет гость, а он стоит, смотрит на окно, тербит свою бородку и думает. Становится скучно.

Голос у сангвиника приятный, сочный, глаза умные, насмешливые, лицо благодушное, несколько помятое от частого употребления пива и долгого лежания на диване; по-видимому, он мог бы рассказать мне много интересного про оперу, про свои любовные похождения, про товарищей, которых он любит, но, к сожалению, говорить об этом не принято. А я бы охотно послушал.

– Профессор! Даю вам честное слово, что если вы поставите мне удовлетворительно, то я...

Как только дело дошло до «честного слова», я махаю руками и сажусь за стол. Студент думает еще минуту и говорит уныло:

– В таком случае прощайте... Извините.

– Прощайте, мой друг. Доброго здоровья.

Он нерешительно идет в переднюю, медленно одевается там и, выйдя на улицу, вероятно, опять долго думает; ничего не придумав, кроме «старого черта» по моему адресу, он идет в плохой ресторан пить пиво и обедать, а потом к себе домой спать. Мир праху твоему, честный труженик!

Третий звонок. Входит молодой доктор в новой черной паре, в золотых очках и, конечно, в белом галстуке. Рекомендуются. Прошу садиться и спрашиваю, что угодно. Не без волнения молодой жрец науки начинает говорить мне, что в этом году он выдержал экзамен на докторанта и что ему остается теперь только написать диссертацию. Ему хотелось бы поработать у меня, под моим руководством, и я бы премного обязал его, если бы дал ему тему для диссертации.

– Очень рад быть полезным, коллега, – говорю я, – но давайте сначала споемся относительно того, что такое диссертация. Под этим словом принято разуметь сочинение, составляющее продукт самостоятельного творчества. Не так ли? Сочинение же, написанное на чужую тему и под чужим руководством, называется иначе...

Докторант молчит. Я вспыхиваю и вскакиваю с места.

– Что вы все ко мне ходите, не понимаю? – кричу я сердито. – Лавочка у меня, что ли? Я не торгую темами! В тысячу первый раз прошу вас всех оставить меня в покое! Извините за неделикатность, но мне, наконец, это надоело!

Докторант молчит, и только около его скул выступает легкая краска. Лицо его выражает глубокое уважение к моему знаменитому имени и учености, а по глазам его я вижу, что он презирает и мой голос, и мою жалкую фигуру, и нервную жестикуляцию. В своем гневе я представляюсь ему чудачком.

– У меня не лавочка! – сержусь я. – И удивительное дело! Отчего вы не хотите быть самостоятельными? Отчего вам так противна свобода?

Говорю я много, а он все молчит. В конце концов я мало-помалу стихаю и, разумеется, сдаюсь. Докторант получит от меня тему, которой грош цена, напишет под моим наблюдением никому не нужную диссертацию, с достоинством выдержит скучный диспут и получит ненужную ему ученую степень.

Звонки могут следовать один за другим без конца, но я здесь ограничусь только четырьмя. Бьет четвертый звонок, и я слышу знакомые шаги, шорох платья, милый голос...

Восемнадцать лет тому назад умер мой товарищ окулист и оставил после себя семилетнюю дочь Катю и тысяч шестьдесят денег. В своем завещании он назначил опекуном меня. До десяти лет Катя жила в моей семье, потом была отдана в институт и жила у меня только в летние месяцы, во время каникул. Заниматься ее воспитанием было мне некогда, наблюдал я ее только урывками, и потому о детстве ее могу сказать очень немного.

Первое, что я помню и люблю по воспоминаниям, это – необыкновенную доверчивость, с какою она вошла в мой дом, лечилась у докторов и которая всегда светилась на ее личике. Бывало, сидит где-нибудь в сторонке с подвязанной щекой и непременно смотрит на что-нибудь со вниманием; видит ли она в это время, как я пишу и перелистываю книги, или как хлопчет жена, или как кухарка в кухне чистит картофель, или как играет собака, у нее всегда неизменно глаза выражали одно и то же, а именно: «Все, что делается на этом свете, все прекрасно и умно». Она была любопытна и очень любила говорить со мной. Бывало, сидит за столом против меня, следит за моими движениями и задает вопросы. Ей интересно знать, что я читаю, что делаю в университете, не боюсь ли трупов, куда деваю свое жалованье.

– Студенты дерутся в университете? – спрашивает она.

– Дерутся, милая.

– А вы ставите их на колени?

– Ставлю.

И ей было смешно, что студенты дерутся и что я ставлю их на колени, и она смеялась. Это был кроткий, терпеливый и добрый ребенок. Нередко мне приходилось видеть, как у нее отнимали что-нибудь, наказывали понапрасну или не удовлетворяли ее любопытства; в это время к постоянному выражению доверчивости на ее лице примешивалась еще грусть – и только. Я не умел заступаться за нее, а только, когда видел грусть, у меня являлось желание привлечь ее к себе и пожалеть тоном старой няньки: «Сиротка моя милая!»

Помню также, она любила хорошо одеваться и прыскаться духами. В этом отношении она походила на меня. Я тоже люблю красивую одежду и хорошие духи.

Жалею, что у меня не было времени и охоты проследить начало и развитие страсти, которая вполне уже владела Катей, когда ей было четырнадцать-пятнадцать лет. Я говорю об ее страстной любви к театру. Когда она приезжала к нам из института на каникулы и жила у нас, то ни о чем она не говорила с таким удовольствием и с таким жаром, как о пьесах и актерах. Своими постоянными разговорами о театре она утомляла нас. Жена и дети не слушали ее. У одного только меня не хватало мужества отказывать ей во внимании. Когда у нее являлось желание поделиться своими восторгами, она входила ко мне в кабинет и говорила умоляющим тоном:

– Николай Степаныч, позвольте мне поговорить с вами о театре!

Я показывал ей на часы и говорил:

– Даю тебе полчаса. Начинай.

Позднее она стала привозить с собою целыми дюжинами портреты актеров и актрис, на которых молилась; потом попробовала несколько раз участвовать в любительских спектаклях и в конце концов, когда кончила курс, объявила мне, что она родилась быть актрисой.

Я никогда не разделял театральных увлечений Кати. По-моему, если пьеса хороша, то, чтобы она произвела должное впечатление, нет надобности утруждать актеров; можно ограничиться одним только чтением. Если же пьеса плоха, то никакая игра не сделает ее хорошею.

В молодости я часто посещал театр, и теперь раза два в год семья берет ложу и возит меня «проветрить». Конечно, этого недостаточно, чтобы иметь право судить о театре, но я скажу о нем немного. По моему мнению, театр не стал лучше, чем он был тридцать-сорок лет назад. По-прежнему ни в театральных коридорах, ни в фойе я никак не могу найти стакана чистой воды. По-прежнему капельдинеры штрафуют меня за мою шубу на двугривенный, хотя в ношении теплого платья зимою нет ничего предосудительного. По-прежнему в антрактах играет без всякой надобности музыка, прибавляющая к впечатлению, получаемому от пьесы, еще новое, непрошеное. По-прежнему мужчины в антрактах ходят в буфет пить спиртные напитки. Если не видно прогресса в мелочах, то напрасно я стал бы искать его и в крупном. Когда актер, с головы до ног опутанный театральными традициями и предрассудками, старается читать простой, обыкновенный монолог «Быть или не быть» не просто, а почему-то непременно с шипением и с судорогами во всем теле, или когда он старается убедить меня во что бы то ни стало, что Чацкий, разговаривающий много с дураками и любящий дуру, очень умный человек и что «Горе от ума» не скучная пьеса, то на меня от сцены веет тою же самой рутинной, которая скучна мне была еще сорок лет назад, когда меня угощали классическими завываниями и биением по персям. И всякий раз выхожу я из театра консервативным более, чем когда вхожу туда.

Сентиментальную и доверчивую толпу можно убедить в том, что театр в настоящем его виде есть школа. Но кто знаком со школой в истинном ее смысле, того на эту удочку не поймать. Не знаю, что будет через пятьдесят-сто лет, но при настоящих условиях театр может служить только развлечением. Но развлечение это слишком дорого для того, чтобы продолжать пользоваться им. Оно отнимает у государства тысячи молодых, здоровых и талантливых мужчин и женщин, которые, если бы не посвящали себя театру, могли бы быть хорошими врачами, хлебопашцами, учительницами, офицерами; оно отнимает у публики вечерние часы – лучшее время для умственного труда и товарищеских бесед. Не говорю уж о денежных затратах и о тех нравственных потерях, какие несет зритель, когда видит на сцене неправильно трактуемые убийство, прелюбодеяние или клевету.

Катя же была совсем другого мнения. Она уверяла меня, что театр, даже в настоящем его виде, выше аудиторий, выше книг, выше всего на свете. Театр – это сила, соединяющая в себе одной все искусства, а актеры – миссионеры. Никакое искусство и никакая наука в отдельности не в состоянии действовать так сильно и так верно на человеческую душу, как сцена, и недаром поэтому актер средней величины пользуется в государстве гораздо большею популярностью, чем самый лучший ученый или художник. И никакая публичная деятельность не может доставить такого наслаждения и удовлетворения, как сценическая.

И в один прекрасный день Катя поступила в труппу и уехала, кажется, в Уфу, увезя с собою много денег, тьму радужных надежд и аристократические взгляды на дело.

Первые письма ее с дороги были удивительны. Я читал их и просто изумлялся, как это небольшие листки бумаги могут содержать в себе столько молодости, душевной чистоты, святой наивности и вместе с тем тонких, дельных суждений, которые могли бы сделать честь хорошему мужскому уму. Волгу, природу, города, которые она посещала, товарищей, свои успехи и неудачи она не описывала, а воспевала; каждая строчка дышала доверчивостью, какую я привык видеть на ее лице, – и при всем том масса грамматических ошибок, а знаков препинания почти совсем не было.

Не прошло и полгода, как я получил в высшей степени поэтическое и восторженное письмо, начинавшееся словами: «Я полюбила». К этому письму была приложена фотография, изображавшая молодого мужчину с бритым лицом, в широкополой шляпе и с пледом, перекинутым через плечо. Следующие затем письма были по-прежнему великолепны, но уж показались в них знаки препинания, исчезли грамматические ошибки, и сильно запахло от них мужчиною. Катя стала писать мне о том, что хорошо бы где-нибудь на Волге построить большой театр, не иначе как на паях, и привлечь к этому предприятию богатое купечество и пароходо-

владельцев; денег было бы много, сборы громадные, актеры играли бы на условиях товарищества... Может быть, все это и в самом деле хорошо, но мне кажется, что подобные измышления могут исходить только из мужской головы.

Как бы то ни было, полтора-два года, по-видимому, все обстояло благополучно: Катя любила, верила в свое дело и была счастлива; но потом в письмах я стал замечать явные признаки упадка. Началось с того, что Катя пожаловалась мне на своих товарищей – это первый и самый зловещий симптом; если молодой ученый или литератор начинает свою деятельность с того, что горько жалуется на ученых или литераторов, то это значит, что он уже утомился и не годен для дела. Катя писала мне, что ее товарищи не посещают репетиций и никогда не знают ролей; в постановке нелепых пьес и в манере держать себя на сцене видно у каждого из них полное неуважение к публике; в интересах сбора, о котором только и говорят, драматические актрисы унижаются до пения шансонеток, а трагики поют куплеты, в которых смеются над рогатыми мужьями и над беременностью неверных жен и т. д. В общем, надо изумляться, как это до сих пор не погибло еще провинциальное дело и как оно может держаться на такой тонкой и гнилой жилочке.

В ответ я послал Кате длинное и, признаться, очень скучное письмо. Между прочим, я писал ей: «Мне нередко приходилось беседовать со стариками актерами, благороднейшими людьми, дарившими меня своим расположением; из разговоров с ними я мог понять, что их деятельностью руководят не столько их собственный разум и свобода, сколько мода и настроение общества; лучшим из них приходилось на своем веку играть и в трагедии, и в оперетке, и в парижских фарсах, и в феериях, и всегда одинаково им казалось, что они шли по прямому пути и приносили пользу. Значит, как видишь, причину зла нужно искать не в актерам, а глубже, в самом искусстве и в отношениях к нему всего общества». Это мое письмо только раздражило Катю. Она мне ответила: «Мы с вами поем из разных опер. Я вам писала не о благороднейших людях, которые дарили вас своим расположением, а о шайке пройдох, не имеющих ничего общего с благородством. Это табун диких людей, которые попали на сцену только потому, что их не приняли бы нигде в другом месте, и которые называют себя артистами только потому, что наглы. Ни одного таланта, но много бездарностей, пьяниц, интриганов, сплетников. Не могу вам высказать, как горько мне, что искусство, которое я так люблю, попало в руки ненавистных мне людей; горько, что лучшие люди видят зло только издали, не хотят подойти поближе и, вместо того чтоб вступить, пишут тяжеловесным слогом общие места и никому не нужную мораль...» и так далее, все в таком роде.

Прошло еще немного времени, и я получил такое письмо: «Я бесчеловечно обманута. Не могу дольше жить. Распорядитесь моими деньгами, как это найдете нужным. Я любила вас, как отца и единственного моего друга. Простите».

Оказалось, что и ее *он* принадлежал тоже к «табуну диких людей». Впоследствии по некоторым намекам я мог догадаться, что было покушение на самоубийство. Кажется, Катя пробовала отравиться. Надо думать, что она потом была серьезно больна, так как следующее письмо я получил уже из Ялты, куда, по всей вероятности, ее послали доктора. Последнее письмо ее ко мне содержало в себе просьбу возможно скорее выслать ей в Ялту тысячу рублей, и оканчивалось оно так: «Извините, что письмо так мрачно. Вчера я похоронила своего ребенка». Прожив в Крыму около года, она вернулась домой.

Путешествовала она около четырех лет, и во все эти четыре года, надо сознаться, я играл по отношению к ней довольно незавидную и странную роль. Когда ранее она объявила мне, что идет в актрисы, и потом писала мне про свою любовь, когда ею периодически овладевал дух расточительности и мне то и дело приходилось, по ее требованию, высылать ей то тысячу, то две рублей, когда она писала мне о своем намерении умереть и потом о смерти ребенка, то всякий раз я терялся и все мое участие в ее судьбе выражалось только в том, что я много думал

и писал длинные, скучные письма, которых я мог бы совсем не писать. А между тем ведь я заменял ей родного отца и любил ее, как дочь!

Теперь Катя живет в полуверсте от меня. Она наняла квартиру в пять комнат и обставилась довольно комфортабельно и с присущим ей вкусом. Если бы кто взялся нарисовать ее обстановку, то преобладающим настроением в картине получилась бы лень. Для ленивого тела – мягкие кушетки, мягкие табуретки, для ленивых ног – ковры, для ленивого зрения – линючие, тусклые или матовые цвета; для ленивой души – изобилие на стенах дешевых вееров и мелких картин, в которых оригинальность исполнения преобладает над содержанием, избыток столиков и полочек, уставленных совершенно ненужными и не имеющими цены вещами, бесформенные лоскутья вместо занавесей... Все это вместе с боязнью ярких цветов, симметрии и простора, помимо душевной лени, свидетельствует еще и об извращении естественного вкуса. По целым дням Катя лежит на кушетке и читает книги, преимущественно романы и повести. Из дому она выходит только раз в день, после полудня, чтобы повидаться со мной.

Я работаю, а Катя сидит недалеко от меня на диване, молчит и кутается в шаль, точно ей холодно. Оттого ли, что она симпатична мне, или оттого, что я привык к ее частым посещениям, когда она была еще девочкой, ее присутствие не мешает мне сосредоточиться. Изредка я задаю ей машинально какой-нибудь вопрос, она дает очень короткий ответ; или же, чтоб отдохнуть минутку, я оборачиваюсь к ней и гляжу, как она, задумавшись, просматривает какой-нибудь медицинский журнал или газету. И в это время я замечаю, что на лице ее уже нет прежнего выражения доверчивости. Выражение теперь холодное, безразличное, рассеянное, как у пассажиров, которым приходится долго ждать поезда. Одетая она по-прежнему красиво и просто, но небрежно; видно, что платью и прическе немало достается от кушеток и качалок, на которых она лежит по целым дням. И уж она не любопытна, как была прежде. Вопросов она уж мне не задает, как будто все уж испытала в жизни и не ждет услышать ничего нового.

В исходе четвертого часа в зале и в гостиной начинается движение. Это из консерватории вернулась Лиза и привела с собою подруг. Слышно, как играют на рояли, пробуют голоса и хохочут; в столовой Егор накрывает на стол и стучит посудой.

– Прощайте, – говорит Катя. – Сегодня я не зайду к вашим. Пусть извинят. Некогда. Приходите.

Когда я провожаю ее до передней, она сурово оглядывает меня с головы до ног и говорит с досадой:

– А вы все худеете! Отчего не лечитесь? Я съезжу к Сергею Федоровичу и приглашу. Пусть вас посмотрит.

– Не нужно, Катя.

– Не понимаю, что ваша семья смотрит! Хороши, нечего сказать.

Она порывисто надевает свою шубку, и в это время из ее небрежно сделанной прически непременно падают на пол две-три шпильки. Поправлять прическу лень и некогда; она неловко прячет упавшие локоны под шапочку и уходит.

Когда я вхожу в столовую, жена спрашивает меня:

– У тебя была сейчас Катя? Отчего же она не зашла к нам? Это даже странно...

– Мама! – говорит ей укоризненно Лиза. – Если не хочет, то и бог с ней. Не на колени же нам становиться.

– Как хочешь, это пренебрежение. Сидеть в кабинете три часа и не вспомнить о нас. Впрочем, как ей угодно.

Варя и Лиза обе ненавидят Катю. Ненависть эта мне непонятна, и, вероятно, чтобы понимать ее, нужно быть женщиной. Я ручаюсь головою, что из тех полтора десятка молодых мужчин, которых я почти ежедневно вижу в своей аудитории, и из той сотни пожилых, которых мне приходится встречать каждую неделю, едва ли найдется хоть один такой, который умел бы понимать ненависть и отвращение к прошлому Кати, то есть к внебрачной беременности и к

незаконному ребенку; и в то же время я никак не могу припомнить ни одной такой знакомой мне женщины или девушки, которая сознательно или инстинктивно не питала бы в себе этих чувств. И это не оттого, что женщина добродетельнее и чище мужчины: ведь добродетель и чистота мало отличаются от порока, если они не свободны от злого чувства. Я объясняю это просто отсталостью женщин. Унылое чувство сострадания и боль совести, какие испытывает современный мужчина, когда видит несчастье, гораздо больше говорят мне о культуре и нравственном росте, чем ненависть и отвращение. Современная женщина так же слезлива и груба сердцем, как и в Средние века. И, по-моему, вполне благоразумно поступают те, которые советуют ей воспитываться, как мужчина.

Жена не любит Кати еще за то, что она была актрисой, за неблагодарность, за гордость, за эксцентричность и за все те многочисленные пороки, какие одна женщина всегда умеет находить в другой.

Кроме меня и моей семьи, у нас обедают еще две-три подруги дочери и Александр Адольфович Гнеккер, поклонник Лизы и претендент на ее руку. Это молодой блондин, не старше тридцати лет, среднего роста, очень полный, широкоплечий, с рыжими бакенами около ушей и с нафабранными усиками, придающими его полному, гладкому лицу какое-то игрушечное выражение. Одет он в очень короткий пиджак, в цветную жилетку, в брюки с большими клетками, очень широкие сверху и очень узкие книзу, и в желтые ботинки без каблуков. Глаза у него выпуклые, рачьи, галстук похож на рачью шейку, и даже, мне кажется, весь этот молодой человек издает запах ракового супа. Бывает он у нас ежедневно, но никто в моей семье не знает, какого он происхождения, где учился и на какие средства живет. Он не играет и не поет, но имеет какое-то отношение и к музыке и к пению, продает где-то чьи-то рояли, бывает часто в консерватории, знаком со всеми знаменитостями и распоряжается на концертах; судит он о музыке с большим авторитетом, и, я заметил, с ним охотно все соглашаются.

Богатые люди имеют всегда около себя приживалов; науки и искусства тоже. Кажется, нет на свете такого искусства или науки, которые были бы свободны от присутствия «инородных тел» вроде этого г. Гнеккера. Я не музыкант и, быть может, ошибаюсь относительно Гнеккера, которого к тому же мало знаю. Но слишком уж кажутся мне подозрительными его авторитет и то достоинство, с каким он стоит около рояля и слушает, когда кто-нибудь поет или играет.

Будь вы сто раз джентльменом и тайным советником, но если у вас есть дочь, то вы ничем не гарантированы от того мещанства, которое часто вносят в ваш дом и в ваше настроение ухаживания, сватовство и свадьба. Я, например, никак не могу помириться с тем торжественным выражением, какое бывает у моей жены всякий раз, когда сидит у нас Гнеккер, не могу также помириться с теми бутылками лафита, портвейна и хереса, которые ставятся только ради него, чтобы он воочию убедился, как широко и роскошно мы живем. Не перевариваю я и отрывистого смеха Лизы, которому она научилась в консерватории, и ее манеры щурить глаза в то время, когда у нас бывают мужчины. А главное, я никак не могу понять, почему это ко мне каждый день ходит и каждый день со мною обедает существо, совершенно чуждое моим привычкам, моей науке, всему складу моей жизни, совершенно не похожее на тех людей, которых я люблю. Жена и прислуга таинственно шепчут, что «это жених», но я все-таки не понимаю его присутствия; оно возбуждает во мне такое же недоумение, как если бы со мною за стол посадили зулуса. И мне также кажется странным, что моя дочь, которую я привык считать ребенком, любит этот галстук, эти глаза, эти мягкие щеки...

Прежде я любил обед или был к нему равнодушен, теперь же он не возбуждает во мне ничего, кроме скуки и раздражения. С тех пор как я стал превосходительным и побывал в деканах факультета, семья моя нашла почему-то нужным совершенно изменить наше меню и обеденные порядки. Вместо тех простых блюд, к которым я привык, когда был студентом и лекарем, теперь меня кормят супом-пюре, в котором плавают какие-то белые сосульки, и почками в мадере. Генеральский чин и известность отняли у меня навсегда и щи, и вкусные пироги, и гуся

с яблоками, и леща с кашей. Они же отняли у меня горничную Агашу, говорливую и смешливую старушку, вместо которой подает теперь обед Егор, тупой и надменный малый, с белой перчаткой на правой руке. Антракты коротки, но кажутся чрезмерно длинными, потому что их нечем наполнить. Уж нет прежней веселости, непринужденных разговоров, шуток, смеха, нет взаимных ласк и той радости, какая волновала детей, жену и меня, когда мы сходились, бывало, в столовой; для меня, занятого человека, обед был временем отдыха и свидания, а для жены и детей праздником, правда, коротким, но светлым и радостным, когда они знали, что я на полчаса принадлежу не науке, не студентам, а только им одним и больше никому. Нет уже больше умения пьянеть от одной рюмки, нет Агаши, нет леща с кашей, нет того шума, каким всегда встречались маленькие обеденные скандалы вроде драки под столом кошки с собакой или падения повязки с Катиной щеки в тарелку с супом.

Описывать теперешний обед так же невкусно, как есть его. На лице у жены торжественность, напускная важность и обычное выражение заботы. Она беспокойно оглядывает наши тарелки и говорит: «Я вижу, вам жаркое не нравится... Скажите: ведь не нравится?» И я должен отвечать: «Напрасно ты беспокоишься, милая, жаркое очень вкусно». А она: «Ты всегда за меня заступаешься, Николай Степаныч, и никогда не скажешь правды. Отчего же Александр Адольфович так мало кушал?» – и все в таком роде в продолжение всего обеда. Лиза отрывисто хохочет и щурит глаза. Я гляжу на обеих, и только вот теперь за обедом для меня совершенно ясно, что внутренняя жизнь обеих давно уже ускользнула от моего наблюдения. У меня такое чувство, как будто когда-то я жил дома с настоящей семьей, а теперь обедаю в гостях у ненастоящей жены и вижу ненастоящую Лизу. Произошла в обеих резкая перемена, я прозевал тот долгий процесс, по которому эта перемена совершалась, и немудрено, что я ничего не понимаю. Отчего произошла перемена? Но знаю. Быть может, вся беда в том, что жене и дочери бог не дал такой же силы, как мне. С детства я привык противостоять внешним влияниям и закалил себя достаточно; такие житейские катастрофы, как известность, генеральство, переход от довольства к жизни не по средствам, знакомства со знатью и проч., едва коснулись меня, и я остался цел и невредим, на слабых же, незакаленных жене и Лизу все это свалилось, как большая снеговая глыба, и сдавило их.

Барышни и Гнеккер говорят о фугах, контрапунктах, о певцах и пианистах, о Бахе и Брамсе, а жена, боясь, чтобы ее не заподозрили в музыкальном невежестве, сочувственно улыбается им и бормочет: «Это прелестно... Неужели? Скажите...» Гнеккер солидно кушает, солидно острит и снисходительно выслушивает замечания барышень. Изредка у него является желание поговорить на плохом французском языке, и тогда он почему-то находит нужным величать меня *votre excellence*.<sup>6</sup>

А я угрюм. Видимо, я всех их стесняю, а они стесняют меня. Никогда раньше я не был коротко знаком с сословным антагонизмом, но теперь меня мучает именно что-то вроде этого. Я стараюсь находить в Гнеккере одни только дурные черты, скоро нахожу их и терзаюсь, что на его жениховском месте сидит человек не моего круга. Присутствие его дурно влияет на меня еще и в другом отношении. Обыкновенно, когда я остаюсь сам с собою или бываю в обществе людей, которых люблю, я никогда не думаю о своих заслугах, а если начинаю думать, то они представляются мне такими ничтожными, как будто я стал ученым только вчера; в присутствии же таких людей, как Гнеккер, мои заслуги кажутся мне высочайшей горой, вершина которой исчезает в облаках, а у подножия шевелятся едва заметные для глаза Гнеккеры.

После обеда я иду к себе в кабинет и закуриваю там свою трубочку, единственную за весь день, уцелевшую от давно бывшей, скверной привычки дымить от утра до ночи. Когда я курю, ко мне входит жена и садится, чтобы поговорить со мной. Так же, как и утром, я заранее знаю, о чем у нас будет разговор.

<sup>6</sup> Ваше превосходительство (*франц.*).

– Надо бы нам с тобой поговорить серьезно, Николай Степаныч, – начинает она. – Я насчет Лизы... Отчего ты не обратишь внимания?

– То есть?

– Ты делаешь вид, что ничего не замечаешь, но это нехорошо. Нельзя быть беспечным... Гнеккер имеет насчет Лизы намерения... Что ты скажешь?

– Что он дурной человек, я не могу сказать, так как не знаю его, но что он мне не нравится, об этом я говорил тебе уже тысячу раз.

– Но так нельзя... нельзя...

Она встает и ходит в волнении.

– Так нельзя относиться к серьезному шагу... – говорит она. – Когда речь идет о счастье дочери, надо отбросить все личное. Я знаю, он тебе не нравится... Хорошо... Если мы откажем ему теперь, расстроим все, то чем ты поручишься, что Лиза всю жизнь не будет жаловаться на нас? Женихов теперь не бог весть сколько, и может случиться, что не представится другой партии... Он очень любит Лизу и, по-видимому, нравится ей... Конечно, у него нет определенного положения, но что же делать? Бог даст, со временем определится куда-нибудь. Он из хорошего семейства и богатый.

– Откуда тебе это известно?

– Он говорил. У его отца в Харькове большой дом и под Харьковом имение. Одним словом, Николай Степаныч, тебе непременно нужно съездить в Харьков.

– Зачем?

– Ты разузнаешь там... У тебя там есть знакомые профессора, они тебе помогут. Я бы сама поехала, но я женщина. Не могу...

– Не поеду я в Харьков, – говорю я угрюмо.

Жена пугается, и на лице ее появляется выражение мучительной боли.

– Ради бога, Николай Степаныч! – умоляет она меня, всхлипывая. – Ради бога, сними с меня эту тяжесть! Я страдаю!

Мне становится больно глядеть на нее.

– Хорошо, Варя, – говорю я ласково. – Если хочешь, то изволь, я съезжу в Харьков и сделаю все, что тебе угодно.

Она прижимает к глазам платок и уходит к себе в комнату плакать. Я остаюсь один.

Немного погодя приносят огонь. От кресел и лампового колпака ложатся на стены и пол знакомые, давно надоевшие тени, и когда я гляжу на них, мне кажется, что уже ночь и что уже начинается моя проклятая бессонница. Я ложусь в постель, потом встаю и хожу по комнате, потом опять ложусь... Обыкновенно после обеда, перед вечером, мое нервное возбуждение достигает своего высшего градуса. Я начинаю без причины плакать и прячу голову под подушку. В это время я боюсь, чтобы кто-нибудь не вошел, боюсь внезапно умереть, стыжусь своих слез, и, в общем, получается в душе нечто нестерпимое. Я чувствую, что долее я не могу видеть ни своей лампы, ни книг, ни теней на полу, не могу слышать голосов, которые раздаются в гостиной. Какая-то невидимая и непонятная сила грубо толкает меня вон из моей квартиры. Я вскакиваю, торопливо одеваюсь и осторожно, чтоб не заметили домашние, выхожу на улицу. Куда идти?

Ответ на этот вопрос у меня давно уже сидит в мозгу: к Кате.

### III

По обыкновению, она лежит на турецком диване или на кушетке и читает что-нибудь. Увидев меня, она лениво поднимает голову, садится и протягивает мне руку.

– А ты все лежишь, – говорю я, помолчав немного и отдохнув. – Это нездорово. Ты бы занялась чем-нибудь!

– А?

– Ты бы, говорю, занялась чем-нибудь.

– Чем? Женщина может быть только простой работницей или актрисой.

– Ну, что ж? Если нельзя в работницы, иди в актрисы.

Молчит.

– Замуж бы выходила, – говорю я полушутя.

– Но за кого. Да и незачем.

– Так жить нельзя.

– Без мужа? Велика важность! Мужчин сколько угодно, была бы охота.

– Это, Катя, некрасиво.

– Что некрасиво?

– Да вот то, что ты сейчас сказала.

Заметив, что я огорчен, и желая сгладить дурное впечатление, Катя говорит:

– Пойдемте. Идите сюда. Вот.

Она ведет меня в маленькую, очень уютную комнатку и говорит, указывая на письменный стол:

– Вот... Я приготовила для вас. Тут вы будете заниматься. Приезжайте каждый день и привозите с собой работу. А там дома вам только мешают. Будете здесь работать? Хотите?

Чтобы не огорчить ее отказом, я отвечаю ей, что заниматься у нее буду и что комната мне очень нравится. Затем мы оба садимся в уютной комнатке и начинаем разговаривать.

Тепло, уютная обстановка и присутствие симпатичного человека возбуждают во мне теперь не чувство удовольствия, как прежде, а сильный позыв к жалобам и брюзжанию. Мне кажется почему-то, что если я поропщу и пожалуюсь, то мне станет легче.

– Плохо дело, моя милая! – начинаю я со вздохом. – Очень плохо...

– Что такое?

– Видишь ли, в чем дело, мой друг. Самое лучшее и самое святое право королей – это право помилования. И я всегда чувствовал себя королем, так как безгранично пользовался этим правом. Я никогда не судил, был снисходителен, охотно прощал всех направо и налево. Где другие протестовали и возмущались, там я только советовал и убеждал. Всю свою жизнь я старался только о том, чтобы мое общество было выносимо для семьи, студентов, товарищей, для прислуги. И такое мое отношение к людям, я знаю, воспитывало всех, кому приходилось быть около меня. Но теперь уж я не король. Во мне происходит нечто такое, что прилично только рабам: в голове моей день и ночь бродят злые мысли, а в душе свили себе гнездо чувства, каких я не знал раньше. Я и ненавижу, и презираю, и негодную, и возмущаюсь, и боюсь. Я стал не в меру строг, требователен, раздражителен, нелюбезен, подозрителен. Даже то, что прежде давало мне повод только сказать лишний каламбур и добродушно посмеяться, родит во мне теперь тяжелое чувство. Изменилась во мне и моя логика: прежде я презирал только деньги, теперь же питаю злое чувство не к деньгам, а к богачам, точно они виноваты; прежде ненавидел насилие и произвол, а теперь ненавижу людей, употребляющих насилие, точно виноваты они одни, а не все мы, которые не умеем воспитывать друг друга. Что это значит? Если новые мысли и новые чувства произошли от перемены убеждений, то откуда могла взяться эта перемена? Разве мир стал хуже, а я лучше, или раньше я был слеп и равнодушен? Если же эта перемена

произошла от общего упадка физических и умственных сил – я ведь болен и каждый день теряю в весе, – то положение мое жалко: значит, мои новые мысли ненормальны, нездоровы, я должен стыдиться их и считать ничтожными. . .

– Болезнь тут ни при чем, – перебивает меня Катя. – Просто у вас открылись глаза; вот и все. Вы увидели то, чего раньше почему-то не хотели замечать. По-моему, прежде всего вам нужно окончательно порвать с семьей и уйти.

– Ты говоришь нелепости.

– Вы уж не любите их, что ж тут кривить душой? И разве это семья? Ничтожества! Умри они сегодня, и завтра же никто не заметит их отсутствия.

Катя презирает жену и дочь так же сильно, как те ее ненавидят. Едва ли можно в наше время говорить о праве людей презирать друг друга. Но если стать на точку зрения Кати и признать такое право существующим, то все-таки увидишь, что она имеет такое же право презирать жену и Лизу, как те ее ненавидеть.

– Ничтожества! – повторяет она. – Вы обедали сегодня? Как же это они не позабыли позвать вас в столовую? Как это они до сих пор помнят еще о вашем существовании?

– Катя, – говорю я строго, – прошу тебя замолчать.

– А вы думаете, мне весело говорить о них? Я была бы рада совсем их не знать. Слушайтесь же меня, мой дорогой: бросьте все и уезжайте. Поезжайте за границу, Чем скорее, тем лучше.

– Что за вздор! А университет?

– И университет тоже. Что он вам? Все равно никакого толку. Читаете вы уже тридцать лет, а где ваши ученики? Много ли у вас знаменитых ученых? Сочтите-ка! А чтобы размножать этих докторов, которые эксплуатируют невежество и наживают сотни тысяч, для этого не нужно быть талантливым и хорошим человеком. Вы лишний.

– Боже мой, как ты резка! – ужасаюсь я. – Как ты резка! Замолчи, иначе я уйду! Я не умею отвечать на твои резкости!

Входит горничная и зовет нас пить чай. Около самовара наш разговор, слава богу, меняется. После того как я уже пожаловался, мне хочется дать волю другой своей старческой слабости – воспоминаниям. Я рассказываю Кате о своем прошлом и, к великому удивлению, сообщаю ей такие подробности, о каких я даже не подозревал, что они еще целы в моей памяти. А она слушает меня с умилением, с гордостью, притаив дыхание. Особенно я люблю рассказывать ей о том, как я когда-то учился в семинарии и как мечтал поступить в университет.

– Бывало, гуляю я по нашему семинарскому саду. . . – рассказываю я. – Донесет ветер из какого-нибудь далекого кабака пиликанье гармоники и песню или промчится мимо семинарского забора тройка с колоколами, и этого уже совершенно достаточно, чтобы чувство счастья вдруг наполнило не только грудь, но даже живот, ноги, руки. . . Слушаешь гармонику или затихающие колокола, а сам воображаешь себя врачом и рисуешь картины – одна другой лучше. И вот, как видишь, мечты мои сбылись. Я получил больше, чем смел мечтать. Тридцать лет я был любимым профессором, имел превосходных товарищей, пользовался почетною известностью. Я любил, женился по страстной любви, имел детей. Одним словом, если оглянуться назад, то вся моя жизнь представляется мне красивой, талантливо сделанной композицией. Теперь мне остается только не испортить финала. Для этого нужно умереть по-человечески. Если смерть в самом деле опасность, то нужно встретить ее так, как подобает это учителю, ученому и гражданину христианского государства: бодро и со спокойной душой. Но я порчу финал. Я утопаю, бегу к тебе, прошу помощи, а ты мне: утопайте, это так и нужно.

Но вот в передней раздается звонок. Я и Катя узнаем его и говорим:

– Это, должно быть, Михаил Федорович.

И в самом деле, через минуту входит мой товарищ филолог, Михаил Федорович, высокий, хорошо сложенный, лет пятидесяти, с густыми седыми волосами, с черными бровями

и бритый. Это добрый человек и прекрасный товарищ. Происходит он от старинной дворянской фамилии, довольно счастливой и талантливой, играющей заметную роль в истории нашей литературы и просвещения. Сам он умен, талантлив, очень образован, но не без странностей. До некоторой степени все мы странны и все мы чудачки, но его странности представляют нечто исключительное и небезопасное для его знакомых. Между последними я знаю немало таких, которые за его странностями совершенно не видят его многочисленных достоинств.

Войдя к нам, он медленно снимает перчатки и говорит бархатным басом:

– Здравствуйте. Чай пьете? Это очень кстати. Адски холодно.

Затем он садится за стол, берет себе стакан и тотчас же начинает говорить. Самое характерное в его манере говорить – это постоянно шуточный тон, какая-то помесь философии с балагурством, как у шекспировских гробокопателей. Он всегда говорит о серьезном, но никогда не говорит серьезно. Суждения его всегда резки, бранчивы, но благодаря мягкому, ровному, шутивому тону как-то так выходит, что резкость и брань не режут уха и к ним скоро привыкаешь. Каждый вечер он приносит с собою штук пять-шесть анекдотов из университетской жизни и с них обыкновенно начинает, когда садится за стол.

– Ох, господи! – вздыхает он, насмешливо шевеля своими черными бровями. – Бывают же на свете такие комики!

– А что? – спрашивает Катя.

– Иду я сегодня с лекции и встречаю на лестнице этого старого идиота, нашего NN... Идет и, по обыкновению, выставил вперед свой лошадиный подбородок и ищет, кому бы пожаловаться на свой мигрень, на жену и на студентов, которые не хотят посещать его лекций. Ну, думаю, увидел меня – теперь погиб, пропало дело...

И так далее в таком роде. Или же он начинает так:

– Был вчера на публичной лекции нашего ZZ. Удивляюсь, как это наша *alma mater*,<sup>7</sup> не к ночи будь помянута, решается показывать публике таких балбесов и патентованных тупиц, как этот ZZ. Ведь это европейский дурак! Помилуйте, другого такого по всей Европе днем с огнем не сыщешь! Читает, можете себе представить, точно леденец сосет: сю-сю-сю... Струсил, плохо разбирает свою рукопись, мыслишки движутся еле-еле, со скоростью архимандрита, едущего на велосипеде, а главное, никак не разберешь, что он хочет сказать. Скучища страшная, мухи мрут. Эту скучищу можно сравнить только разве с тою, которая бывает у нас в актовом зале на годовичном акте, когда читается традиционная речь, чтоб ее черт взял.

И тотчас же резкий переход:

– Года три тому назад, вот Николай Степанович помнит, пришлось мне читать эту речь. Жарко, душно, мундир давит под мышками – просто смерть! Читаю полчаса, час, полтора часа, два часа... «Ну, думаю, слава богу, осталось еще только десять страниц». А в конце у меня были такие четыре страницы, что можно было совсем не читать, и я рассчитывал их выпустить. Значит, осталось, думаю, только шесть. Но, представьте, взглянул мельком вперед и вижу: в первом ряду сидят рядышком какой-то генерал с лентой и архиерей. Бедняги окоченели от скуки, таращат глаза, чтоб не уснуть, и все-таки тем не менее стараются изображать на своих лицах внимание и делают вид, что мое чтение им понятно и нравится. Ну, думаю, коли нравится, так нате же вам! Назло! Взял и прочел все четыре страницы.

Когда он говорит, то улыбаются у него, как вообще у насмешливых людей, одни только глаза и брови. В глазах у него в это время нет ни ненависти, ни злости, но много остроты и той особой лисьей хитрости, которую можно бывает подметить только у очень наблюдательных людей. Если продолжать говорить об его глазах, то я заметил еще одну их особенность. Когда он принимает от Кати стакан или выслушивает ее замечание, или провожает ее взглядом, когда

<sup>7</sup> Мать-кормилица (*лат.*). – Так в старину называли высшую школу люди, ее окончившие.

она зачем-нибудь ненадолго выходит из комнаты, то в его взгляде я замечаю что-то кроткое, молящееся, чистое...

Горничная убирает самовар и ставит на стол большой кусок сыру, фрукты и бутылку крымского шампанского, довольно плохого вина, которое Катя полюбила, когда жила в Крыму. Михаил Федорович берет с этажерки две колоды карт и раскладывает пасьянс. По его уверению, некоторые пасьянсы требуют большой сообразительности и внимания, но тем не менее все-таки, раскладывая их, он не перестает развлекать себя разговором. Катя внимательно следит за его картами и больше мимикой, чем словами, помогает ему. Вина за весь вечер она выпивает не больше двух рюмок, я выпиваю четверть стакана; остальная часть бутылки приходится на долю Михаила Федоровича, который может пить много и никогда не пьянеет.

За пасьянсом мы решаем разные вопросы, преимущественно высшего порядка, причем больше всего достается тому, что мы больше всего любим, то есть науке.

– Наука, слава богу, отжила свой век, – говорит Михаил Федорович с расстановкой. – Ее песня уже спета. Да-с. Человечество начинает уже чувствовать потребность заменить ее чем-нибудь другим. Выросла она на почве предрассудков, вскормлена предрассудками и составляет теперь такую же квинтэссенцию из предрассудков, как ее отжившие бабушки: алхимия, метафизика и философия. И в самом деле, что она дала людям? Ведь между учеными европейцами и китайцами, не имеющими у себя никаких наук, разница самая ничтожная, чисто внешняя. Китайцы не знали науки, но что они от этого потеряли?

– И мухи не знают науки, – говорю я, – но что же из этого?

– Вы напрасно сердитесь, Николай Степаныч. Я ведь это говорю здесь, между нами... Я осторожнее, чем вы думаете, и не стану говорить это публично, спаси бог! В массе живет предрассудок, что науки и искусства выше земледелия, торговли, выше ремесел. Наша секта кормится этим предрассудком, и не мне с вами разрушать его. Спаси бог!

За пасьянсом достается на орехи и молодежи.

– Измельчала нынче наша публика, – вздыхает Михаил Федорович. – Не говорю уже об идеалах и прочее, но хоть бы работать и мыслить умели толком! Вот уж именно: «Печально я гляжу на наше поколение».

– Да, ужасно измельчали, – соглашается Катя. – Скажите, в последние пять-десять лет был ли у вас хоть один выдающийся?

– Не знаю, как у других профессоров, но у себя что-то не помню.

– Я видела на своем веку много студентов и ваших молодых ученых, много актеров... Что ж? Ни разу не сподобилась встретиться не только с героем или с талантом, но даже просто с интересным человеком. Все серо, бездарно, надуты претензиями...

Все эти разговоры об измельчании производят на меня всякий раз такое впечатление, как будто я нечаянно подслушал нехороший разговор о своей дочери. Мне обидно, что обвинения огульны и строятся на таких давно избитых общих местах, таких жупелах, как измельчание, отсутствие идеалов или ссылка на прекрасное прошлое. Всякое обвинение, даже если оно высказывается в дамском обществе, должно быть формулировано с возможной определенностью, иначе оно не обвинение, а пустое злословие, недостойное порядочных людей.

Я старик, служу уже тридцать лет, но не замечаю ни измельчания, ни отсутствия идеалов и не нахожу, чтобы теперь было хуже, чем прежде. Мой швейцар, Николай, опыт которого в данном случае имеет свою цену, говорит, что нынешние студенты не лучше и не хуже прежних.

Если бы меня спросили, что мне не нравится в теперешних моих учениках, то я ответил бы на это не сразу и не много, но с достаточной определенностью. Недостатки их я знаю, и мне поэтому нет надобности прибегать к туману общих мест. Мне не нравится, что они курят табак, употребляют спиртные напитки и поздно женятся; что они беспечны и часто равнодушны до такой степени, что терпят в своей среде голодающих и не платят долгов в общество вспомоществования студентам. Они не знают новых языков и неправильно выражаются по-рус-

ски; не дальше, как вчера, мой товарищ гигиенист жаловался мне, что ему приходится читать вдвое больше, так как они плохо знают физику и совершенно незнакомы с метеорологией. Они охотно поддаются влиянию писателей новейшего времени, даже не лучших, но совершенно равнодушны к таким классикам, как, например, Шекспир, Марк Аврелий, Эпиктет или Паскаль, и в этом неуменье отличать большое от малого наиболее всего сказывается их житейская непрактичность. Все затруднительные вопросы, имеющие более или менее общественный характер (например, переселенческий), они решают подписными листами, но не путем научного исследования и опыта, хотя последний путь находится в полном их распоряжении и наиболее соответствует их назначению. Они охотно становятся ординаторами, ассистентами, лаборантами, экстернами и готовы занимать эти места до сорока лет, хотя самостоятельность, чувство свободы и личная инициатива в науке не меньше нужны, чем, например, в искусстве или торговле. У меня есть ученики и слушатели, но нет помощников и наследников, и потому я люблю их и умиляюсь, но не горжусь ими. И т. д. и т. д. ...

Подобные недостатки, как бы много их ни было, могут породить пессимистическое или бранчивое настроение только в человеке малодушном и робком. Все они имеют случайный, преходящий характер и находятся в полной зависимости от жизненных условий; достаточно каких-нибудь десяти лет, чтобы они исчезли или уступили свое место другим, новым недостаткам, без которых не обойтись и которые в свою очередь будут пугать малодушных. Студенческие грехи досаждают мне часто, но эта досада ничто в сравнении с тою радостью, какую я испытываю уже тридцать лет, когда беседую с учениками, читаю им, приглядываюсь к их отношениям и сравниваю их с людьми не их круга.

Михаил Федорович злословит, Катя слушает, и оба не замечают, в какую глубокую пропасть мало-помалу втягивает их такое, по-видимому, невинное развлечение, как осуждение ближних. Они не чувствуют, как простой разговор постепенно переходит в глумление и в издевательство и как оба они начинают пускать в ход даже клеветнические приемы.

– Уморительные попадают субъекты, – говорит Михаил Федорович. – Вчера прихожу я к нашему Егору Петровичу и застаю там студюоза, из ваших же медиков, третьего курса, кажется. Лицо этакое... в добролюбовском стиле, на лбу печать глубокомыслия. Разговорились. «Такие-то дела, говорю, молодой человек. Читал я, говорю, что какой-то немец – забыл его фамилию – добыл из человеческого мозга новый алкалоид идиотин». Что ж вы думаете? Поверил и даже на лице своем уважение изобразил: знай, мол, наших! А то наемдни прихожу я в театр. Сажусь. Как раз впереди меня, в следующем ряду, сидят каких-то два: один «из насих» и, по-видимому, юрист, другой лохматый – медик. Медик пьян, как сапожник. На сцену – ноль внимания. Знай себе дремлет да носом клюет. Но как только какой-нибудь актер начнет громко читать монолог или просто возвысит голос, мой медик вздрагивает, толкает своего соседа в бок и спрашивает: «Что он говорит? Бла-а-родно?» – «Благородно», – отвечает «из насих». «Брр-раво! – орет медик. – Бла-а-родно. Bravo!» Он, видите ли, дубина пьяная, пришел в театр не за искусством, а за благородством. Ему благородство нужно.

А Катя слушает и смеется. Хохот у нее какой-то странный: вдыхания быстро и ритмически правильно чередуются с выдыханиями – похоже на то, как будто она играет на гармонике, – и на лице при этом смеются одни только ноздри. Я же падаю духом и не знаю, что говорить. Выйдя из себя, я вспыхиваю, вскакиваю с места и кричу:

– Замолчите, наконец! Что вы сидите тут, как две жабы, и отравляете воздух своими дыханиями? Довольно!

И, не дождавшись, когда они кончат злословить, я собираюсь уходить домой. Да уж и пора: одиннадцатый час.

– А я еще посижу немножко, – говорит Михаил Федорович. – Позволяете, Екатерина Владимировна?

– Позволяю, – отвечает Катя.

– Вене.<sup>8</sup> В таком случае прикажите подать еще бутылочку.

Оба провожают меня со свечами в переднюю, и, пока я надеваю шубу, Михаил Федорович говорит:

– В последнее время вы ужасно похудели и состарились, Николай Степанович. Что с вами? Больны?

– Да, болен немножко.

– И не лечится... – угрюмо вставляет Катя.

– Отчего же не лечитесь? Как можно так? Береженого, милый человек, бог бережет. Кланяйтесь вашим и извинитесь, что не бываю. На днях, перед отъездом за границу, приду проститься. Непременно! На будущей неделе уезжаю.

Выхожу я от Кати раздраженный, напуганный разговорами о моей болезни и недовольный собою. Я себя спрашиваю: в самом деле, не полечиться ли у кого-нибудь из товарищей? И тотчас же я воображаю, как товарищ, выслушав меня, отойдет молча к окну, подумает, потом обернется ко мне и, стараясь, чтобы я не прочел на его лице правды, скажет равнодушным тоном: «Пока не вижу ничего особенного, но все-таки, коллега, я советовал бы вам прекратить занятия...» И это лишит меня последней надежды.

У кого нет надежд? Теперь, когда я сам ставлю себе диагноз и сам лечу себя, временами я надеюсь, что меня обманывает мое невежество, что я ошибаюсь и насчет белка и сахара, которые нахожу у себя, и насчет сердца, и насчет тех отеков, которые уже два раза видел у себя по утрам; когда я с усердием ипохондрика перечитываю учебники терапии и ежедневно меняю лекарства, мне все кажется, что я набреду на что-нибудь утешительное. Мелко все это.

Покрыто ли небо тучами, или сияют на нем луна и звезды, я всякий раз, возвращаясь, гляжу на него и думаю о том, что скоро меня возьмет смерть. Казалось бы, в это время мысли мои должны быть глубоки, как небо, яркие, поразительны... Но нет! Я думаю о себе самом, о жене, Лизе, Гнеккере, о студентах, вообще о людях; думаю нехорошо, мелко, хитрю перед самим собою, и в это время мое мирозерцание может быть выражено словами, которые знаменитый Аракчеев сказал в одном из своих интимных писем: «Все хорошее в свете не может быть без дурного, и всегда более худого, чем хорошего». То есть все гадко, не для чего жить, а те шестьдесят два года, которые уже прожиты, следует считать пропащими. Я ловлю себя на этих мыслях и стараюсь убедить себя, что они случайны, временны и сидят во мне не глубоко, но тотчас же я думаю:

«Если так, то зачем же каждый вечер тебя тянет к тем двум жабам?»

И я даю себе клятву больше никогда не ходить к Кате, хотя и знаю, что завтра же опять пойду к ней.

Дергая у своей двери за звонок и потом идя вверх по лестнице, я чувствую, что у меня уже нет семьи и нет желания вернуть ее. Ясно, что новые, аракеевские мысли сидят во мне не случайно и не временно, а владеют всем моим существом. С больной совестью, унылый, ленивый, едва двигая членами, точно во мне прибавилась тысяча пудов весу, я ложусь в постель и скоро засыпаю.

А потом – бессонница...

---

<sup>8</sup> Хорошо (лат.).

## IV

Наступает лето, и жизнь меняется.

В одно прекрасное утро входит ко мне Лиза и говорит шутивым тоном:

– Пойдемте, ваше превосходительство. Готово.

Мое превосходительство ведут на улицу, сажают на извозчика и везут. Я еду и от нечего делать читаю вывески справа налево. Из слова «трактир» выходит «риткарт». Это годилось бы для баронской фамилии: баронесса Риткарт. Далее еду по полю мимо кладбища, которое не производит на меня ровно никакого впечатления, хотя я скоро буду лежать на нем; потом еду лесом и опять полем. Ничего интересного. После двухчасовой езды мое превосходительство ведут в нижний этаж дачи и помещают его в небольшой, очень веселенькой комнатке с голубыми обоями.

Ночью по-прежнему бессонница, но утром я уже не бодрствую и не слушаю жены, а лежу в постели. Я не сплю, а переживаю сонливое состояние, полузабытье, когда знаешь, что не спишь, но видишь сны. В полдень я встаю и сажусь по привычке за свой стол, но уж не работаю, а развлекаю себя французскими книжками в желтых обложках, которые присылает мне Катя. Конечно, было бы патриотичнее читать русских авторов, но, признаться, я не питаю к ним особенного расположения. Исключая двух-трех стариков, вся нынешняя литература представляется мне не литературой, а в своем роде кустарным промыслом, существующим только для того, чтобы его поощряли, но неохотно пользовались его изделиями. Самое лучшее из кустарных изделий нельзя назвать замечательным и нельзя искренно похвалить его без но; то же самое следует сказать и о всех тех литературных новинках, которые я прочел в последние десять-пятнадцать лет: ни одной замечательной, и не обойдешься без но. Умно, благородно, но неталантливо; талантливо, благородно, но неумно, или, наконец, – талантливо, умно, но неблагородно.

Я не скажу, чтобы французские книжки были и талантливы, и умны, и благородны. И они не удовлетворяют меня. Но они не так скучны, как русские, и в них не редкость найти главный элемент творчества – чувство личной свободы, чего нет у русских авторов. Я не помню ни одной такой новинки, в которой автор с первой же страницы не постарался бы опутать себя всякими условностями и контрактами со своею совестью. Один боится говорить о голом теле, другой связал себя по рукам и по ногам психологическим анализом, третьему нужно «теплое отношение к человеку», четвертый нарочно целые страницы размазывает описаниями природы, чтобы не быть заподозренным в тенденциозности... Один хочет быть в своих произведениях непременно мещанином, другой непременно дворянином и т. д. Умышленность, осторожность, себе на уме, но нет ни свободы, ни мужества писать, как хочется, а стало быть, нет и творчества.

Все это относится к так называемой изящной словесности.

Что же касается русских серьезных статей, например по социологии, по искусству и проч., то я не читаю их просто из робости. В детстве и в юности я почему-то питал страх к швейцарам и к театральным капельдинерам, и этот страх остался у меня до сих пор. Я и теперь боюсь их. Говорят, что кажется страшным только то, что непонятно. И в самом деле, очень трудно понять, отчего швейцары и капельдинеры так важны, надменны и величаво невежливы. Читая серьезные статьи, я чувствую точно такой же неопределенный страх. Необычайная важность, игривый генеральский тон, фамильярное обращение с иностранными авторами, уменье с достоинством переливать из пустого в порожнее – все это для меня непонятно, страшно, и все это не похоже на скромность и джентльменски-покойный тон, к которым я привык, читая наших писателей-врачей и естественников. Не только статьи, но мне тяжело читать даже переводы, которые делают или редактируют русские серьезные люди. Чванный, благосклонный тон

предисловий, изобилие примечаний от переводчика, мешающих мне сосредоточиться, знаки вопроса и sic<sup>9</sup> в скобках, разбросанные щедрым переводчиком по всей статье или книге, представляются мне покушением и на личность автора, и на мою читательскую самостоятельность.

Как-то раз я был приглашен экспертом в окружный суд: в антракте один из моих товарищей экспертов обратил мое внимание на грубое отношение прокурора к подсудимым, среди которых были две интеллигентные женщины. Мне кажется, я несколько не преувеличил, ответив товарищу, что это отношение не грубее тех, какие существуют у авторов серьезных статей друг к другу. В самом деле, эти отношения так грубы, что о них можно говорить только с тяжелым чувством. Друг к другу и к тем писателям, которых они критикуют, относятся они или излишне почтительно, не щадя своего достоинства, или же, наоборот, третируют их гораздо смелее, чем я в этих записках и мыслях своего будущего зятя Гнеккера. Обвинения в невменяемости, в нечистоте намерений и даже во всякого рода уголовщине составляют обычное украшение серьезных статей. А это уж, как любят выражаться в своих статейках молодые врачи, *ultima ratio!*<sup>10</sup> Такие отношения неминуемо должны отражаться на нравах молодого поколения пишущих, и поэтому я несколько не удивляюсь, что в тех новинках, какие приобрела в последние десять-пятнадцать лет наша изящная словесность, герои пьют много водки, а героини недостаточно целомудренны.

Я читаю французские книжки и поглядываю на окно, которое открыто; мне видны зубцы моего палисадника, два-три тощих деревца, а там дальше за палисадником дорога, поле, потом широкая полоса хвойного леса. Часто я люблюсь, как какие-то мальчик и девочка, оба бело-волосые и оборванные, карабкаются на палисадник и смеются над моей лысиной. В их блестящих глазенках я читаю: «Гляди, плешивый!» Это едва ли не единственные люди, которым нет никакого дела ни до моей известности, ни до чина.

Посетители теперь бывают у меня не каждый день. Упомяну только о посещениях Николая и Петра Игнатьевича. Николай приходит обыкновенно ко мне по праздникам, как будто за делом, но больше затем, чтоб повидаться. Приходит он сильно навеселе, чего с ним никогда не бывает зимою.

– Что скажешь? – спрашиваю я, выходя к нему в сени.

– Ваше превосходительство! – говорит он, прижимая руку к сердцу и глядя на меня с восторгом влюбленного. – Ваше превосходительство! Накажи меня бог! Убей гром на этом месте! Гаудеамус игитур ювенестус!<sup>11</sup>

И он жадно целует меня в плечи, в рукава, в пуговицы.

– Все у нас там благополучно? – спрашиваю я его.

– Ваше превосходительство! Как перед истинным...

Он не перестает божиться без всякой надобности, скоро наскучает мне, и я отсылаю его в кухню, где ему подают обедать. Петр Игнатьевич приезжает ко мне тоже по праздникам специально затем, чтобы проведать и поделиться со мною мыслями. Сидит он у меня обыкновенно около стола, скромный, чистенький, рассудительный, не решаясь положить ногу на ногу или облокотиться о стол; и все время он тихим, ровным голосом, гладко и книжно рассказывает мне разные, по его мнению, очень интересные и пикантные новости, вычитанные им из журналов и книжек. Все эти новости похожи одна на другую и сводятся к такому типу: один француз сделал открытие, другой – немец – уличил его, доказав, что это открытие было сделано еще в 1870 году каким-то американцем, а третий – тоже немец – перехитрил обоих, доказав им, что оба они опростоволосились, приняв под микроскопом шарики воздуха за темный

<sup>9</sup> Так (*лат.*).

<sup>10</sup> Последний довод! (*лат.*)

<sup>11</sup> Искаженное начало старинной студенческой песни: «Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus» – «Будем веселиться, пока молоды» (*лат.*).

пигмент. Петр Игнатьевич, даже когда хочет рассмешить меня, рассказывает длинно, обстоятельно, точно защищает диссертацию, с подробным перечислением литературных источников, которыми он пользовался, стараясь не ошибиться ни в числах, ни в номерах журналов, ни в именах, причем говорит не просто Пти, а непременно Жан Жак Пти. Случается, что он остается у нас обедать, и тогда в продолжение всего обеда он рассказывает все те же пикантные истории, наводящие уныние на всех обедающих. Если Гнеккер и Лиза заводят при нем речь о фугах и контрапунктах, о Брамсе и Бахе, то он скромно потупляет взоры и конфузится; ему стыдно, что в присутствии таких серьезных людей, как я и он, говорят о таких пошлостях.

При теперешнем моем настроении достаточно пяти минут, чтобы он надоел мне так, как будто я вижу и слушаю его уже целую вечность. Я ненавижу беднягу. От его тихого, ровного голоса и книжного языка я чахну, от рассказов тупею... Он питает ко мне самые хорошие чувства и говорит со мною только для того, чтобы доставить мне удовольствие, а я плачу ему тем, что в упор гляжу на него, точно хочу его загипнотизировать, и думаю: «Уйди, уйди, уйди...» Но он не поддается мысленному внушению и сидит, сидит, сидит...

Пока он сидит у меня, я никак не могу отделаться от мысли: «Очень возможно, что, когда я умру, его назначат на мое место», – и моя бедная аудитория представляется мне оазисом, в котором высох ручей, и я с Петром Игнатьевичем нелюбезен, молчалив, угрюм, как будто в подобных мыслях виноват он, а не я сам. Когда он начинает, по обычаю, перевозносить немецких ученых, я уж не подшучиваю добродушно, как прежде, а угрюмо бормочу:

– Ослы ваши немцы...

Это похоже на то, как покойный профессор Никита Крылов, купаясь однажды с Пироговым в Ревеле и рассердившись на воду, которая была очень холодна, выбранился: «Подлецы немцы!» Веду я себя с Петром Игнатьевичем дурно, и только когда он уходит и я вижу, как в окне за палисадником мелькает его серая шляпа, мне хочется окликнуть его и сказать: «Простите меня, голубчик!»

Обед у нас проходит скучнее, чем зимою. Тот же Гнеккер, которого я теперь ненавижу и презираю, обедает у меня почти каждый день. Прежде я терпел его присутствие молча, теперь же я отпускаю по его адресу колкости, заставляющие краснеть жену и Лизу. Увлечшись злым чувством, я часто говорю просто глупости и не знаю, зачем говорю их. Так случилось однажды, я долго глядел с презрением на Гнеккера и ни с того ни с сего выпалил:

Орлам случается и ниже кур спускаться,  
Но курам никогда до облак не подняться...

И досаднее всего, что курица Гнеккер оказывается гораздо умнее орла-профессора. Зная, что жена и дочь на его стороне, он держится такой тактики: отвечает на мои колкости снисходительным молчанием (спятил, мол, старик – что с ним разговаривать?) или же добродушно подшучивает надо мной. Нужно удивляться, до какой степени может измельчать человек! Я в состоянии в продолжение всего обеда мечтать о том, как Гнеккер окажется авантюристом, как Лиза и жена поймут свою ошибку и как я буду дразнить их, – и подобные нелепые мечты в то время, когда одною ногой я стою уже в могиле!

Бывают теперь и недоразумения, о которых я прежде имел понятие только понаслышке. Как мне ни совестно, но опишу одно из них, случившееся на днях после обеда.

Я сижу у себя в комнате и курю трубочку. Входит, по обыкновению, жена, садится и начинает говорить о том, что хорошо бы теперь, пока тепло и есть свободное время, съездить в Харьков и разузнать там, что за человек наш Гнеккер.

– Хорошо, съезжу... – соглашаюсь я.

Жена, довольная мною, встает и идет к двери, но тотчас же возвращается и говорит:

– Кстати, еще одна просьба. Я знаю, ты рассердишься, но моя обязанность предупредить тебя... Извини, Николай Степаныч, но все наши знакомые и соседи стали уж поговаривать о том, что ты очень часто бываешь у Кати. Она умная, образованная, я не спорю, с ней приятно провести время, но в твои годы и с твоим общественным положением как-то, знаешь, странно находить удовольствие в ее обществе... К тому же у нее такая репутация, что...

Вся кровь вдруг отливает от моего мозга, из глаз сыплются искры, я вскакиваю и, схватив себя за голову, топоча ногами, кричу не своим голосом:

– Оставьте меня! Оставьте меня! Оставьте!

Вероятно, лицо мое ужасно, голос странен, потому что жена вдруг бледнеет и громко вскрикивает каким-то тоже не своим, отчаянным голосом. На наш крик вбегают Лиза, Гнеккер, потом Егор...

– Оставьте меня! – кричу я. – Вон! Оставьте!

Ноги мои немеют, точно их нет совсем, я чувствую, как падаю на чьи-то руки, потом недолго слышу плач и погружаюсь в обморок, который длится часа два-три.

Теперь о Кате. Она бывает у меня каждый день перед вечером, и этого, конечно, не могут не заметить ни соседи, ни знакомые. Она приезжает на минутку и увозит меня с собой кататься. У нее своя лошадь и новенький шарабан, купленный этим летом. Вообще живет она на широкую ногу: наняла дорогую дачу-особняк с большим садом и перевезла в нее всю свою городскую обстановку, имеет двух горничных, кучера... Часто я спрашиваю ее:

– Катя, чем ты будешь жить, когда промотаешь отцовские деньги?

– Там увидим, – отвечает она.

– Эти деньги, мой друг, заслуживают более серьезного отношения к ним. Они нажиты хорошим человеком, честным трудом.

– Об этом вы уже говорили мне. Знаю.

Сначала мы едем по полю, потом по хвойному лесу, который виден из моего окна. Природа по-прежнему кажется мне прекрасною, хотя бес и шепчет мне, что все эти сосны и ели, птицы и белые облака на небе через три или четыре месяца, когда я умру, не заметят моего отсутствия. Кате нравится править лошадей и приятно, что погода хороша и что я сижу рядом с нею. Она в духе и не говорит резкостей.

– Вы очень хороший человек, Николай Степаныч, – говорит она. – Вы редкий экземпляр, и нет такого актера, который сумел бы сыграть вас. Меня или, например, Михаила Федорыча сыграет даже плохой актер, а вас никто. И я вам завидую, страшно завидую! Ведь что я изображаю из себя? Что?

Она минуту думает и спрашивает меня:

– Николай Степаныч, ведь я отрицательное явление? Да?

– Да, – отвечаю я.

– Гм... Что же мне делать?

Что ответить ей? Легко сказать «трудись», или «раздай свое имущество бедным», или «познай самого себя», и потому, что это легко сказать, я не знаю, что ответить.

Мои товарищи терапевты, когда учат лечить, советуют «индивидуализировать каждый отдельный случай». Нужно послушаться этого совета, чтобы убедиться, что средства, рекомендуемые в учебниках за самые лучшие и вполне пригодные для шаблона, оказываются совершенно негодными в отдельных случаях. То же самое и в нравственных недугах.

Но ответить что-нибудь нужно, и я говорю:

– У тебя, мой друг, слишком много свободного времени. Тебе необходимо заняться чем-нибудь. В самом деле, отчего бы тебе опять не поступить в актрисы, если есть призвание?

– Не могу.

– Тон и манера у тебя таковы, как будто ты жертва. Это мне не нравится, друг мой. Сама ты виновата. Вспомни, ты начала с того, что рассердилась на людей и на порядки, но ничего не

сделала, чтобы те и другие стали лучше. Ты не боролась со злом, а утомилась, и ты жертва не борьбы, а своего бессилия. Ну конечно, тогда ты была молода, неопытна, теперь же все может пойти иначе. Право, поступай! Будешь ты трудиться, служить святому искусству...

– Не лукавьте, Николай Степаныч, – перебивает меня Катя. – Давайте раз навсегда условимся: будем говорить об актерах, об актрисах, писателях, но оставим в покое искусство. Вы прекрасный, редкий человек, но не настолько понимаете искусство, чтобы по совести считать его святым. К искусству у вас нет ни чутья, ни слуха. Всю жизнь вы были заняты, и вам некогда было приобретать это чутье. Вообще... я не люблю этих разговоров об искусстве! – продолжает она нервно. – Не люблю! И так уж опошили его, благодарю покорно!

– Кто опошил?

– Те опошили его пьянством, газеты – фамильярным отношением, умные люди – философией.

– Философия тут ни при чем.

– При чем. Если кто философствует, то это значит, что он не понимает.

Чтобы дело не дошло до резкостей, я спешу переменить разговор и потом долго молчу. Только когда мы выезжаем из леса и направляемся к Катиной даче, я возвращаюсь к прежнему разговору и спрашиваю:

– Ты все-таки не ответила мне: отчего ты не хочешь идти в актрисы?

– Николай Степаныч, это, наконец, жестоко! – вскрикивает она и вдруг вся краснеет. – Вам хочется, чтобы я вслух сказала правду? Извольте, если это... это вам нравится! Таланта у меня нет! Таланта нет и... и много самолюбия! Вот!

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.